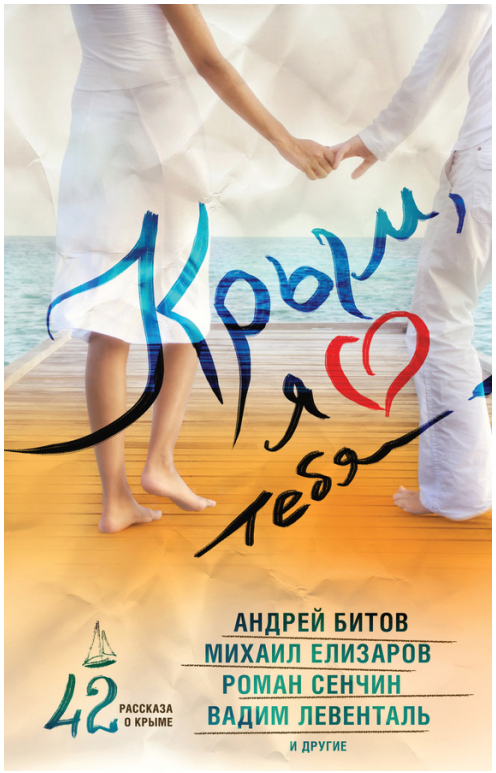
Крым
я ♥ тебя
42 РАССКАЗА О КРЫМЕ
АНДРЕЙ БИТОВ
МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВ
РОМАН СЕНЧИН
ВАДИМ ЛЕВЕНТАЛЬ
И ДРУГИЕ

Андроник Романов
Андрей Явный
Ирина Стояновна Горюнова
Геннадий Шалюгин
Алиса Поникаровская
Платон Беседин
Роман Валерьевич Волков
Сергей Александрович Евсюков
Андрей Георгиевич Битов
Ирина Говоруха
Евгений Степанов
Людмила Коль
Марина Йоргенсен
Елена Николаевна Крюкова
Ольга Яворская
Ирина Шухаева
Артемий Ульянов
Даниэль Орлов
Анастасия Комарова
Андрей Коровин
Сания Шавалиева
Валерий Борисович Бочков
Мария Борисовна Ануфриева
Роман Валерьевич Сенчин
Максим Шмырев
Александр Грановский
Фарид Нагим
Александра Фомина
Вячеслав Анатольевич Харченко
Владимир Гуга
Вадим Андреевич Левенталь
Яна Амис
Александр Ткаченко
Татьяна Успенская-Ошанина

Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17037724
Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме (сборник): Эксмо; Москва; 2015

ISBN 978-5-699-81889-1

Аннотация

Перед вами – большая книга отличной прозы, так или иначе связанной с Крымом. 36 современных писателей – Андрей Битов и Роман Сенчин, Михаил Елизаров и Вадим Левенталь, Елена Крюкова и Даниэль Орлов, Платон Беседин, Фарид Нагим и другие – говорят с нами о странностях любви, о противостоянии смерти, о красоте и абсурде, о спасительной иронии и милосердии. 42 рассказа, написанных в Москве и Петербурге, Киеве и Нью-Йорке, Хельсинки, Торонто, Ялте, о том, что, безусловно, сегодня касается всех нас.

Содержание

Андрей Битов 6
Крым#1946. Как я провел лето 6
Михаил Елизаров 8
Зной 8
Михаил Елизаров 22
Паяцы 22
И на третий день пошел знакомиться… 25
Выбрался к морю… 28
Роман Сенчин 31
Морская соль 31
Вадим Левенталь 39
Император в изгнании 39
Даниэль Орлов 47
Колокол на берегу 47
Елена Крюкова 57
Зодиак 57
Фарид Нагим 61
Швы жизни 61
Встреча в октябре 69
Конец ознакомительного фрагмента. 72

Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме (сборник)

© Битов А., Елизаров М., Сенчин Р., Левенталь В. и др., текст, 2015
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Андрей Битов

Крым#1946. Как я провел лето (Сочинение девятилетнего советского писателя)

Был такой стран СССР. Он победил войну.

Было четыре города-героя (еще до Победы): Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь. Ленинград, где холодно, Севастополь, где тепло.

Где тепло, я уже знал: в Ташкенте, городе хлебном. Память моя начинается с четырех лет, и это Путешествие: 22 июня 1941 года, Любытино на Псковщине – сентябрь 1941#го, Ленинград, Блокада; март 1942#го, «Дорога жизни» – эвакуация в Ревду, на Урал, к отцу (из голода и холода в холод и голод); лето 1943#го – в Ташкент, к бабушке; сентябрь 1944 года – Ленинград, школа, 1#й класс и Победа!

И вот второе, другое путешествие. Мать год копила и накопила: отвезти мои гланды к морю. Все впервые! Мать шикует: до Москвы поездом, от Москвы самолетом. В Москве берет такси и показывает мне Красную площадь и музей подарков Сталину. Рассматриваю в микроскоп рисовое зернышко – благодарственное письмо китайца. Иероглифы крупнее зерна.

Летим. Может быть, на «Дугласе». Пассажиров немного, может быть, столько же, сколько помещалось бомб. Посадка в Киеве. Мама опять успевает взять такси и показать мне Владимирскую Горку и памятник князю Владимиру. Ей очень нравится и памятник, и открывающийся вид. Мне запомнилась рука с крестом. Я уже так устал, что не помню, как долетели до Крыма, как добрались до Ялты. Ходил ли тогда этот длинный троллейбус?

Был еще май – все тепло, зелено и цвело. Жили мы в санатории, и я влюбился во взрослую девушку, норовил встретить ее на дорожке, прикидывал в уме, сколько ей будет через десять лет, когда мне можно будет на ней жениться. Ловил майских жуков на шиповнике, заточал в спичечный коробок. В целом, тот же Ташкент, если бы не море.

Море – не то слово! Его много, но плавать я еще не умел, и мне достается лишь отмель. В море плавали стайки морских коньков, шахматные фигурки. Я их тоже ловил, прямо рукой, и заточал в банку с морской водой. Значит, экологии было еще больше, чем зоологии (потому что слова такого не было). Но еще больше моря мне нравилось обсыхать на солнце, ворочаться с боку на бок, обнаруживая недоступные части голой кожи, «играть в шашлычника». Вместо шашлыка мама покупала черешню, косточками было забавно стрелять из пальцев, стараясь не попасть в загорающих.

Вот вам и все море. Интереснее было ходить смотреть на пленных немцев, работавших за проволокой рядом с санаторием. Первый немец, которого я разглядел, попросил у меня папиросу и, хотя у меня ее не было, подарил мне настоящий фашистский пфенниг тусклого металла. Наверно, скучал по своим детям.

После обеда, когда на море становилось жарко, мама гуляла со мной по городу, но это было не так интересно: все домики заслонены зеленью и ничего не разглядишь.

Но однажды мама решилась заглянуть внутрь. Она долго скреблась в калитку, нажимала звонок. Наконец вышла старушка, чем-то напоминавшая мою бабушку. Старушка говорила, что еще не сезон, профилактика. Мама убеждала ее, что-то про гимназию, консерваторию, ученицу Глазунова… то есть опять же про бабушку, о чем-то дореволюционном. Старушка вздохнула и впустила. Мы пили чай на веранде. На дорожку выползла черепашка,

отвлекла мое внимание, и я не вник в беседу об Антоше, которую вела хозяйка Мария Павловна. Наверно так звали черепашку.

Так я впервые побывал в домике Антона Павловича Чехова и познакомился с его сестрой.

Во второй раз я оказался в Ялте уже в 1967 году с женой Ингой Петкевич в Доме творчества советских писателей, уже автором трех книжек. Мы соседствовали и общались со столь разными личностями, как Виктор Некрасов и Вениамин Каверин, кинорежиссер Иосиф Хейфиц и реэмигрант Александр Казем-Бек.

Иосиф Хейфиц жаловался мне как молодому сценаристу, что хороших сценариев больше нет, я, восхищавшийся в ту пору Чеховым, возражал: «Как же нет! Возьмите любую повесть Чехова. «Дуэль» – готовый сценарий, куда там Антониони…» «Не дают! – вздыхал Хейфиц. – Я уже сколько лет кружу над «Дуэлью»…»

С ним как с творцом «Дамы с собачкой» я оказался в домике Чехова как сознательный посетитель. Перед ним распахивались все двери. Но это был уже не тот домик 1946#го!

Я ничего не узнал. Ни тебе черепашки, ни Марьи Павловны. «Уже старушки нет…»

Только книжка пасьянсов на прикроватной тумбочке и отрывной календарь с датой 27 мая. Но Хейфиц успел-таки исполнить мечту и снять прекрасный фильм по «Дуэли».

Коктебель был в моде у совписов, но я так в него и не попал. Лишь в 1996 году впервые.

Бог красил небо, встав на Карадаг,
И капли капали с его усталой кисти:
Опал и сердолик, хрусталь, агат…
Как недодуманные мысли.

Но камушки все были уже подобраны.

2 июня 2015, 110#летие моей мамы

Михаил Елизаров

Зной

Три вещи поразили меня в жизни – дальняя дорога в скромном русском поле, ветер и любовь.
А. Платонов

Словно бы псы господни затравили ангела – такой был в тот вечер немыслимый закат. В виноградной небесной зелени клочья воспаленного пурпура мешались с фиолетовыми внутренностями, с карамельными тонами растерзанной ангельской плоти, а два огромных пепельных облака казались оторванными крыльями.

Вязкий асфальт сочился битумной смолой, ее можно было зачерпнуть ладонью и превратить в поделочный материал. Я лепил, одного за другим, маленьких покатых истуканов и ставил на каменные перила набережной. Внизу когда-то протекала харьковская Лопань, а теперь вместо мокрого тела реки в обезвоженном гранитном каньоне догнивал исполинский червь.

У меня имелся выкидной нож с тонким блестящим клинком, кустарная безделица из мест несвободы. Острием я прочерчивал глаза и рты смоляным божкам. Пару часов назад этим же ловким ножом в чужой квартире я вырезал поголовье плюшевого зверинца. Умильный игрушечный хлам, нищие мои дары – медвежонок, котик, тигренок…

А до того разгромил спальню: обрушил шкаф – он раскололся, точно был глиняным, – и выломал спинку кровати. У почтенного двуспального животного от моего бесчинства подломились задние ноги. Бедная подруженька – ни жива ни мертва – лежала на склоне матрасного холма и во все глаза смотрела, как я орудую ножом – пилю головы куклам.

Я восклицал, что люблю ее, что хочу жениться – у меня хватало совести на сватовство. Я осквернил чужое жилище, перепугал женского ребенка своим буйством. Ей было всего восемнадцать лет, она собиралась поступать в консерваторию, голосистая девочка.

В то время я еще не научился быть практичным двоеженцем, не держал запаса. Смазливая певунья хотела вступить в студенческую жизнь свободной. Она и в дом меня пустила, надеясь, что это будет последний раз. Он состоялся, последний, а потом, вместо того чтобы уйти, я дал волю рукам.

Я любовался собой, лицедействующим оперное страдание. Крушил, грозил, членил и умолял. Под занавес я повторно справил «последний раз» – любимая дрожала и хныкала – и бежал прочь.

Несколько часов меня носило по городу. Я никогда еще не был так счастлив несчастьем. Это было торжество полноценности – неужели я способен любить и страдать?! До того я бывал только возбужден или равнодушен.

Я угомонился возле вымершей гнилой реки, где наблюдал удивительный, похожий на убийство, закат. С перил на засуху пялились битумные человечки, черные пешки моего отчаяния. Троих я подарил мертвой реке, а четвертого истуканчика забрал с собой. Он получился по-первобытному страшным – тусклый потусторонний увалень.

В сумерках я вернулся домой. Возле подъезда меня поджидали – певунья и ее взволнованно дышащая мать. Я пригласил их. В квартире поспешно разрыдался, чем обезоружил.

Они тоже заплакали. Певческая мать спросила:

– Где тут телефон? С вами хочет поговорить наш папа…

Набрала номер и передала мне трубку.

– Жили люди, – сказал понурый мужской голос. – Не бедно, не богато. Но однажды пришел чужой человек и все сломал… – Он замолчал, точно обессилел.

Я отвечал:

– Простите меня. Я починю…

И сдержал слово. За пятьдесят долларов – солидные деньги для девяносто пятого украинского года – я нанял умельца с мебельной фабрики. Привел к дверям поруганной квартиры. Спустившись на этаж, дождался, чтоб его впустили. И лишь тогда убрался восвояси.

Харьков еще два дня был удушливым и пыльным, как степь после табуна. Но вскоре разразился циклопический невиданный ливень. Будто небо обратилось в океан и всей тяжестью пролилось на землю. Стихия застала меня врасплох, я укрылся под разлапистым каштаном, но за какую-то минуту визжащие, как пули, капли изрешетили крепкую июньскую листву. Дышать получалось только наклонив голову – иначе вода заливала нос и горло. Уже через полтора часа всякий брод был по пояс. Цветными кочками возвышались легковые крыши затопленных машин. Наземные трамваи стали речными. Над канализационными стоками кружили мусор медленные воронки. Входы в метро напоминали мраморные купели с уходящими в глубину ступенями. Харьков погружался, исчезал, как Китеж.

Ливень так же внезапно иссяк. За ночь большая вода схлынула, оставив на улицах болотную тину, напоминающую лягушачью кожу. Наутро в новостях сообщили, что погода разрушила очистительные сооружения, отверзла ядовитые отстойники. Водопровод, захлебнувшись нечистотами, умер. Краны еще до полудня харкали ржавчиной, а потом и ее не стало.

Вернулась городская жара. Снова вместо воздуха плавился горячий, разбавленный выхлопным бензином, штиль. Обезвоженный Харьков больше не вмещал моих сердечных терзаний. Я готовился к побегу в Крым. Там в одиночестве я рассчитывал изнурить, избыть неповоротливую любовь.

Все мое существо источало болезненный символизм. К чему бы я ни прикасался рукой или мыслью, все обретало дополнительный декадентский смысл. Мне было тогда двадцать два наивных года. Маленькая певица представлялась безвременно отлетевшей юностью, а харьковский потоп подводил черту под прошлым. Обновленный, я собирался ступить на будущий Арарат, и плацкартный втридорога билет до Феодосии был голубиной оливковой ветвью.

Я положился на дорогу, как на судьбу. Словно мертвецкую ладью – так снаряжал я мой походный рюкзак. Основными загробными предметами. В путь отправлялись святыни моего детства, не покидавшие порог нашего дома уже несколько десятилетий.

Я брал дедовскую флягу – окопный трофей сорок второго года. Алюминиевый сосуд в зеленом войлочном чехле, похожем на гимнастерку. Солдатский наряд фляги источал запах седла и юрты, пороха и пота. Раньше я частенько вытаскивал флягу из чехла, с умилением изучал голое мятое тело в мельчайших древних трещинках. Фляга обладала Христовой способностью обращать любую воду в питье. Всякой жидкости она сообщала свой неповторимый железно-сладкий привкус.

Я уложил шашку, когда-то сломанную и укороченную прадедом на две трети. Эта сокращенная шашка некоторое время служила ему садовым ножом, а потом оказалась на полке в шкафу и стала семейным экспонатом. За годы острота сошла. Мне без опаски выдавали шашку для домашних игр – в детские годы она была моим богатырским кладенцом…

Я полдня провозился с точильным камнем, чтобы вернуть шашке хоть какой-то рез. Потом отчаялся и решил, что для членения продуктов подойдет другой нож – тоже прадедовский. Швейцарский, складной. По легенде, прадед использовал его в окопе вместо бритвы – небольшой, почерневший от времени клинок легко доводился до хирургической остроты

на ободке чашки или блюдца. С одной стороны рукояти перламутровая накладка выпала, быть может, полвека назад. Вторая половина все еще мерцала зеленым мушиным блеском.

Я прихватил чернильное перо, которое отец в студенческие годы умыкнул на почте в уральском захолустье. Деревянный стержень сургучного цвета и черный железный коготь на нем. К перу я специально докупил пузырек с фиолетовыми чернилами. Из общей тетради выкроил грубоватый блокнот. Записи в нем должны были производиться исключительно почтовым пером – мне виделся в этом особый, пронзительный эстетизм.

Для отсчета времени я взял карманные часы – тоже фамильные, из тусклого тяжелого серебра. Стекло в них разбилось вечность тому назад, но механизм прилежно работал. Чтобы уберечь его от соленой влажности, я завернул часы в полиэтиленовый пакетик.

Я собирался обходиться минимумом вещей. На случай ночевки под открытым небом – я предусматривал и такой цыганский вариант – у меня имелся надувной матрас. Добротный, советский, из прочной ткани.

Как я себе это воображал? Приблизительно так: шашкой смахнул четыре худых саженца, воткнул их в землю, натянул парусину – вот и навес. В кастрюльке размером с пригоршню (для идеальной картины не хватало армейского котелка, а еще лучше немецкой каски – вот в чем бы суп варить!) приготовил незамысловатую еду…

Я накупил мешок всякой быстро-дряни, тушенки и палку колбасы, твердую, как ножка табуретки. В духовке насушил сухарей из буханки бородинского и ссыпал в холщовый мешочек.

В рюкзак добавились пара дряхлых футболок – принципиально ни одной парадной, – плавки, шорты и два полотенца. И он все равно оказался набитым и тяжелым, минималистский рюкзак.

Чтобы со мной попрощаться, отлучились с садового участка родители. Обычно летом они прикованными арестантами отсиживались в деревне.

Я не огорчал их обстоятельствами отъезда, не просил денег. Просто сказал, что уезжаю отдохнуть. Увы, треть моих сбережений ушла на воскрешение шкафа и кровати. Но и сотни долларов, по скупым расчетам, мне должно было хватить до августа.

Феодосийский поезд отправлялся в шесть вечера. Я брел пешком к вокзалу и впивался змеиным взглядом в наизусть изученные улицы, зная, что больше никогда не буду таким пристальным и несчастным.

На мне была фиолетовая футболка без рукавов, ветхие джинсы, уже не черные, а серые от стирок. На ногах хоженые годовалые кеды. Так я представлял себе костюм безутешного странника.

На вокзале я задумался, почему мне не особо удался пронзительный прощальный взгляд на город, и сообразил, что позабыл дома очки. Тогда я мог еще оставить очки и не сразу это заметить – практичная индиана-джонсовская близорукость, позволявшая при случае обходиться без оптических увеличительных подсказок. Я решил, что так даже лучше – буду смотреть на мир честными глазами.

Ближнее плацкартное купе заняли челноки. Весь вагон был бледен, а эти двое уже потемнели до рыжего муравьиного цвета. Везли бесчисленные упаковки с кока-колой, спрайтом, фантой, баночным пивом. Опаздывали с погрузкой, носились по вагону, жилистые и быстрые, таскали запаянные в коконы напитки, будто из огня спасали. Липкие пассажиры, скользкие и белые, как личинки, ворчали: зачем вам столько, заняли чужое место, куда смотрит проводник?

Я вздумал помочь, приспособил для охапки руки. Подхватил на перроне сразу четыре пластиковых батареи – шестьдесят литров.

Буквально в последнюю минуту успели погрузиться. Рыжие благодарно меня угостили пивом – вспомнить бы, каким? Открытое, оно пролилось из жестянки на пол пенными морскими барашками.

Челноку помладше нравилось экспрессивное слово: «мудянка». Он осаживал недовольных соседей: «Рты позакрывали! Развели мудянку!»

К своему напарнику он обращался: «Циглер».

Я так их про себя и называл: Мудянка, Циглер…

Духота усилила резкие запахи дороги. Нагретые полки мироточили железнодорожным смальцем, густым, черным, как деготь.

От трех банок пива я захмелел и разговорился. Зачем-то сочинил, что накануне развелся. Коварную певунью выставил злодейкой-женой, прибавил жилищной заячьей драмы – как меня прогнали из моей лубяной двухкомнатной избушки.

Участливые челноки, прислонившись друг к другу, по-муравьиному пошушукались усиками. Позвали в компанию: не унывай, работай с нами, парень ты крепкий, будем возить жидкости, до сентября поднимешь три сотни баксов.

В Феодосии их ждала машина до поселка Краснокаменка. Туда они везли свой товар, купленный по дешевке на оптовом рынке.

Я отказался, мне не хотелось грузовой туда-сюда истории длиной в два месяца. Я лишь стремился в тихую пустыньку с видом на волны. Вероятно, Краснокаменка и была таким уголком…

Расстроили. Краснокаменка оказалась горним захолустьем, до моря двадцать километров. Я позабыл, что населенные пункты в Крыму не обязательно находятся на побережье.

Мудянка поинтересовался, где бывал я раньше. Неужели только в Ялте да Алуште? А как же Судак и Новый Свет – красивейшие места?

Дорога на Краснокаменку пролегала мимо Коктебеля. Быть может, это и есть знак провидения: коктебельский берег, усадьба кудлатого Волошина?

Поезд разогнался, чуть остудился на ветру. По вагону на цыпочках крались сквозняки. За окнами стелился душный вечер.

С Мудянкой и Циглером я разделил позднюю бутербродную трапезу. Чай выступил на теле жарким потом, точно выпитый стакан я выхлестнул себе за шиворот.

Остались позади сумеречные Запорожье и звездный Мелитополь. Не спалось до Джанкоя. Я на минуту сомкнул глаза, а когда открыл, уже была станция Айвазовская. Ночь развиднелась куцей песчаной полосой пляжа и морем – серым, дымчатым, словно его прикрыли тонированным стеклом. Поезд прибыл в ранние пять утра.

Феодосийский вокзал напоминал обедневшую помещичью усадьбу. Над составами и тополями торчали желтые стрелы портовых кранов. Мы выгрузились. Мудянка ушел искать тележку и пропал. Шумный перрон быстро обезлюдел, на свежий сор набежали горлицы, похожие на нищенок.

Грохоча транспортным имуществом, появился вокзальный грузчик – дедок-татарин в засаленных служебных штанах. Жилистое туловище было карим от загара. Я и Циглер погрузили на железный поддон упаковки. Тележка лязгала, будто везла якорные цепи.

Мы выкатились на пустую вокзальную площадь. Справа на каменном кубе возвышался по-осеннему одетый Ленин – в пальто и кепке, весь в белых птичьих кляксах.

Наша машина опаздывала. Поодаль дремал в распахнутой «Волге» оставшийся без дела таксист – выставил наружу в подвернутой штанине левую ногу, лохматую, словно кактус.

За ночь город не остыл, воздух был хоть и морским, но каким-то комнатным. Пробежали наискосок три бродячих пса – точно воротник, овчина и подол от одного распоротого

тулупа. В порту железным голосом крикнул подъемный кран. Ветер пошевелил гривы акаций.

Циглер курил, в его бесформенно-коричневом, похожем на клубень, кулаке сигарета смотрелась тонкой соломинкой. Он заметил мой любопытный взгляд и пояснил:

– Парафин под кожу закатал. По дурости, когда служил. Теперь вот, – он вздохнул, – не руки, а копыта…

– А зачем?

– Ну, так, – он поискал мишень, резко двинул кулаком по облупленной колонне, будто срикошетила болванка.

– Видишь, – он изучил кулак, – и хоть бы х…

– А почему Циглером зовут?

Он сплюнул и бешено улыбнулся:

– Фамилия такая…

Я пожалел, что спросил. Циглер курил и хмурился. Я смотрел, как быстро темнеет под ветвями акаций однотонный серый асфальт, превращаясь в черную тень. За миг поголубело бесцветное небо. В листве словно заискрились укрытые маленькие зеркала – всходило солнце.

Приехал «раф», рядом с водителем сидел довольный Мудянка:

– Загружаемся, хлопцы, еще подскочим на Октябрьскую за консервой.

В салоне не было кресел, я устроился на рюкзаке, поискал бок помягче и сел. Щербатая дорога трясла машину, и обод тушенки беспокоил копчик.

Рассветная Феодосия выглядела как город детства, который однажды напрочь позабыл. Точно много лет назад кто-то выкрал мою прежнюю жизнь, обесточил память, а сейчас она пробуждается болезненными всполохами узнавания – вот здесь, во двориках играл в казаки-разбойники, тут из колонки тянул пересохшим горлом воду, по этой улице спешил в школу, помахивая портфелем. Вспомнились иные отец и мать, стены детской комнаты в цветочных обоях, сиреневые шторы, письменный стол…

На улице Октябрьской мы погрузили рыбные консервы, краснодарскую томатную пасту в поллитровых банках, макароны, крупу, рис.

– Вот на х… тебе этот Коктебель, – отговаривал водитель. Он уже был в курсе моей печали, наверняка Мудянка проболтался. – Там же одна интеллигенция бородатая собирается. Москва и Ленинград. Физики и лирики. С тоски подохнешь!

Он обернулся, чтобы я увидел его игривое лицо.

– Мудянка, – говорил Мудянка.

Кивал, соглашался в такт ухабам Циглер.

– А бабы ж какие страшные туда понаезжают, – пугал водитель. – Не накрашенные, нечесаные. Все в этих бусах плетеных, фенечки-х…нички, как их там? Лучше в Судак. Там себе такую кралю найдешь, про жинку свою и думать позабудешь. И, опять-таки, имеются места культурного отдыха. Рестораны, кафе. Вечером на набережной, – он поднял важный палец, – живой звук.

– Да я наоборот, я не хочу, чтобы шумно было. Тишины хочу…

– Так рядом Меганом. Пойдешь туда – там дикие пляжи, на километр – один отдыхающий…

– И тот с приветом, – добавил Циглер. – Как Карлос Кастанеда. Читал?

Город выдуманного детства сменила желтая сухая степь. Она напоминала собачьи косматые бока, в которых точно репейник застряли скрюченные низкие деревца.

Мелькали перечеркнутые наискосок красным деревеньки, жилые прилагательные среднего рода – Пионерское, Виноградное. Быстрые пейзажи с долинами и горными перевалами были словно из сказки про Канзас – где-то там за клыкастыми вершинами обитали

злые волшебницы и карликовые смешные племена. Дорога повернула на Коктебель, ликующее вынырнуло море.

По обочинам ширилось строительство – татарские уродливые виллы из ракушечника. Рабочий день только начинался, и смуглые татары, как и положено захватчикам, взбирались по лесенкам на пористые стены.

Клумбы, домики, киоски, пробуждающийся базарчик. Вокруг поселка вздымались коричневые кручи – казалось, Коктебель пьяный поскользнулся, съехал в овраг, да там и заночевал.

– Ну, думай, – сказал Мудянка. – Остаешься? Ты нас не слушай, тут, в принципе, нормально…

Водитель притормозил, чтобы скорость не помешала мне принять решение.

Я ждал знамения свыше. С надувным спасательным пузом пробежал раскормленный мальчишка, за ним, переваливаясь, следовала бабушка, еще не старая матрона с ошпаренными алыми плечами. Она отдышливо взывала: «Миша, Миша!», не поспевала за внуком, над гневным лицом колыхались белые рюши панамки: «Просто дрянь, а не ребенок! Больше не возьму тебя на пляж!»

– В Судак поеду, – сказал я.

Улица Ленина вывела прочь из Коктебеля. Под похожим на драконий костистый загривок хребтом лежала прохладная оливковая тень. Холмы на солнце обретали медный блеск. Из низкорослых хвойных зарослей белые валуны показывали ископаемые слоновьи шкуры. Кустики чертополоха, как газовые горелки, дрожали в прозрачно-фиолетовом огне.

Водитель говорил Мудянке, заливался смехом:

– Ростик на прошлой неделе пригнал «гольф» второй, брал за полторушку, я смотрю – а там пробег четыреста пятьдесят тысяч!

Мы поднимались в горы. С дороги открывалась крылатая панорама на косматую зеленую спину, из которой нарезали узкие ремешки дорог. Вдоль обочин шумели чужие нерусские деревья с большими листьями, напоминающими охотничьи собачьи уши. На склонах аккуратными морковными грядками зрели виноградники.

Проехали поселок Щебетовку, и Циглер посетовал, что магазин коньячного завода еще закрыт. У живописного пруда в камышах и травах, с земляным плоским берегом, остановились. Стоянка была вынужденной – краснодарские банки на недавнем ухабе издали подозрительный расколотый звук.

– П#лять, – расстроился Циглер. – Две таки коцнулись…

Он открыл заднюю дверь. Треснувшую банку, что поцелее, бережно, как птенца, высадил в траву. У второй отвалился верх – осколок походил на окровавленный венец. Циглер свернул совком газету и принялся вычерпывать из машины томатные сгустки.

Мудянка извиняющимся тоном обратился ко мне:

– Не обижайся, мы бы тебя до Судака добросили, просто сразу выгружаемся и бегом обратно в Феодосию.

– Не гони, хлопец нас выручил, – благородно возражал Циглер, – давай подвезем, не по-людски как-то…

Я спросил:

– А сколько тут до Судака? Я б прогулялся…

– Кило́метров пятнадцать, – сказал водила, – по трассе часа за три доберешься. Красота, природа. В Солнечную Долину можно завернуть – там винный магазин. Еще рановато, – он поглядел на часы, – но к девяти откроется. Как раз, пока дойдешь. Местные приторговывают. Красное, крепленое, «Массандра» и… – тут он поднял палец, точно поставил восклицательный знак, – и «Черный Доктор»! Короче, все, что захочешь…

– Пройдусь, – я снял камень с Мудянкиной души. – Серьезно.

За пять быстрых минут мы долетели до развилки. Мне не терпелось остаться одному. Хотелось бормотать и восклицать. В присутствии посторонних я не мог обстоятельно переживать свою тоску.

Циглер спросил:

– Вода с собою есть?

Я вдруг вспомнил, что так и не наполнил флягу.

Он протянул бутылку с минеральной водой:

– Бери, через час-другой тут пекло начнется…

Я не послушал Циглера. Стараясь не проливать воду в пыль, заполнил флягу и вернул бутылку.

– Счастливо отдохнуть, – пожелали мне из «рафа». И укатили в Краснокаменку.

Я вытащил из рюкзака прозрачный пакетик с часами. На ладони они напоминали снулого хруща. Я поднял тяжелое, с вензелем, надкрылье. Стрелки показали три минуты девятого…

Впереди громоздились горы в молочной дымке. У горизонта куделями повисли облака. По залатанному старому асфальту уносились морзянкой вдаль белые тире дорожной разметки. Я вскинул рюкзак и крепко, радостно зашагал.

Сердечные соки за неделю перебродили в топливо. Я заранее переживал, как мало впереди пути, как быстро я достигну Судака, не утомленный. И обстоятельно думал о маленькой утраченной певице, содрогался от нежности. Мне казалось, я все еще чувствую губами пульсы теплого девичьего виска. Мы ехали в маршрутке, она прильнула ко мне, словно доверчивый ребенок, я нежно целовал этот беззащитный висок, хрупкую детскую косточку. Что поделаешь, висок запомнился мне больше многоопытного ее взрослого рта…

Дорога походила на неширокую деревенскую речку, а узкая обочина была каменистым бережком. Где начинались овраги, торчали выкрашенные зеброй бивни из бетона, в глубоких щербинах и сколах. Деревянные столбы электропередач казались римскими осиротевшими распятиями.

В пышных и колючих кустах я углядел торчащий черенок лопаты или другого огородного инвентаря. Вытащил, будто из ножен. Он был приятно шероховатым, черенок, совсем как боевое древко – ну, может, коротковат для пики, но вполне подходящ для должности посоха.

Через полчаса я почувствовал солнце и снял футболку, мне хотелось побыстрее подставить тело лучам, обветриться и потемнеть…

Возникло неудобство – рюкзак. Я неумело складывал его, еще дома бросил вещи как попало. Консервы и кастрюлька давили на позвоночник. Я проложил угловатые предметы полотенцем, это не особо помогло. Без футболки грубый брезент лямок натирал ключицы.

Солнце ласково наглаживало кожу, и обидно было думать, что под горбатым рюкзаком томится и мокнет белая спина, а загорают только плечи и руки.

Появилась идея использовать посох как коромысло. Картинка: «Странник с узелком на палке». Я подвесил рюкзак, уложил посох на плечо. Шагов через двадцать рюкзак слетел на землю, я не удержал – он был увесист, словно пушечное ядро. Дальше я понес его в руке, по очереди, то в правой, то в левой.

Я шел и по мере сил радовался дороге, зарослям, щедрому запаху щебенки и хвои. Наступило время первого глотка, я степенно достал дедовскую флягу, отвернул крышку, пригубил – вода была холодной и железной, в колючих минеральных пузырьках.

Я смаковал глоток, смотрел на горы, что были как огромные цирковые шатры, на южные деревья, чьи сверкающие листья точно вырезали из серебряной фольги. Мне казалось, вдалеке я вижу море, но это был нижний, особенно голубой регистр неба.

Сверился с часами. Было девять утра, я шел чуть меньше часа. Пока любовался красотами, растертой ключицей поживился яростный слепень. Я увидел уже раздувшуюся шишку от укуса. Мне сразу почудилось хищное насекомое на лопатке, я шлепнул себя футболкой по спине, как лошадь хвостом.

Указателя на Солнечную Долину все не было. Дорога оставалась пустынной, за полчаса моего пути мимо проехали, должно быть, две машины.

Во мне бурлили силы. У живописной скалы, похожей на замковую башню, я не удержался и устроил репетицию античного штурма. Настал черед для шашки – чем не короткий меч? Я вообразил себя гоплитом. Рюкзак был несколько тяжелее круглого спартанского щита, но выбирать не приходилось. В левой руке – копье, в правой – меч. Я рванул вверх по склону. Пробился через царапучие заросли, схватился с парой веток, поразил копьем воображаемого перса – корявый низкорослый дубок, достиг подножия скалы, полез выше, помогая себе пальцами. Из-под ноги вылетел и защелкал камень. Мелькнула не спартанская мысль: не грохнуться бы, не напороться бы на шашку брюхом, вот будет номер…

Отдышавшись, я оглядел покоренную твердыню. Внизу, в нескольких километрах, простирались холмы, поросшие зелеными бровями. В отару сгрудились маленькие жилища – наверное, это и была Солнечная Долина. До винного поселка рукой подать – пара километров.

Поверхность скалы оказалась щербатой, как грецкая скорлупа. В неглубокой выбоине я соорудил очаг. Собрал высохшие веточки, пучки травы, какие-то корешки и прочую горючую труху, шашкой в три приема отсек у можжевелового кустика мертвую голую ветку, напоминающую обглоданную руку.

Порадовался, что прозорливо запасся сухим спиртом. Из таблетки разгорелось пламя. Я поставил кастрюльку, налил из фляги воды. Для завтрака у меня была сухая вермишель «Мивина» и домашние сухари.

Огонь на солнце был совсем бесцветным: мне иногда казалось, он потух, и я совал проверочную щепку, она чернела, тлела…

Упрямая вода долго не закипала, глазела с донышка крошечными рачьими пузырьками, но я не торопил ее, мне было хорошо. Я выдернул какой-то сорный колос, закусил его упругий стебелек.

В забурлившую воду я положил брикет вермишели. Из холщового мешочка бросил горстку сухарей. Настал черед складного ножика. Хотелось тушенки, но консервный коготь никак не вылезал – приржавел. Тогда я нарезал колбасы…

И чуть не прослезился: небо в немыслимом голубом свете, покрытые цыплячьим желтым пухом холмы, домики, «Мивина» и сухари в кастрюльке, на душе любовная тоска, а впереди вся жизнь… Я не знал, кого благодарить за это счастье. В голове, как яичко, округлилось и снеслось первое четверостишие.

Я достал блокнот, пузырек с чернилами, перо. Состоялось торжественное отвинчивание крышки чернильницы, обмакивание. Я перенес перо с набрякшей каплей на бумагу. За три нырка перо вывело:

Не скоро к мысли я пришел,
Что память есть сундук страданья,
И терпкие воспоминанья –
Одно из самых страшных зол…

Я полюбовался на итог, закрыл блокнот. Почувствовал, что плечи как-то пересохли. Не спалить бы – подумал, и сразу же забыл, потому что подул остужающий ветер. Внизу

под скалою промчался громкий мотоцикл, похожий на кашляющую пулеметную очередь. Я глянул на часы – начало одиннадцатого. Засиделся.

Еще на скале я заменил джинсы шортами – они были долгие, точно семейные трусы. Я их чуть подоткнул – так бабы у реки подбирают юбки, когда полощут белье, – хотел, чтобы ноги тоже загорали…

Минут через двадцать показалась развилка. Судакская трасса утекала дальше по серпантину. Я свернул на дорогу, ведущую к Солнечной Долине – вспомнились слова водителя о местном магазинчике. Пряная добавка к вермишели разворошила жажду, я несколько раз основательно приложился к фляге и понял, что воды в ней осталось меньше половины. Мне пришла на ум идея пополнить питьевые запасы вином.

Распаренный асфальт был густо, словно панировкой, присыпан гравием. Травы нагрелись и благоухали народной медициной, горькими лечебными ароматами. Стрекотали на печатных машинках кузнечики. Невиданные крупные стрекозы сверкали слюдяными крыльями, драгоценными глазастыми головами. Я сшиб рукой медленную бронзовку. Подобрал упавшего жука, он был как маленький слиток.

Подкравшийся ветер точно окатил теплом из ведра. Я огляделся: меня окружал жаркий и очень солнечный мир. На часах без малого одиннадцать. Это ж когда я дойду до Судака?..

Я в который раз почувствовал плечи. Надавил кожу пальцем – покрасневшая, она откликнулась пятнами, будто изнутри проступило сырое тесто. Похоже, что подгорел… Набросил на спину футболку.

Бог с ним, с молодым вином, с коллекционным «Черным Доктором». На полпути к Долине свернул на грунтовую дорогу. Возвращаться к трассе было лень. Я решил идти параллельно ей через холмы. Представлял, что походным шагом за полтора часа доберусь до цели. Мне же говорили – всего пятнадцать километров, а десяток я, наверное, прошел…

Она была белой, дорога, словно в каждую колею насыпали мел. Степь играла червонными волнами, вдруг под порывом ветра точно перевалилась на другой бок и сделалась цвета зеленой меди – потемнела, как от грозовых туч.

Среди диких злаков виднелись фиолетовые рожки шалфея, я сорвал один цветок, растер в ладонях, он оглушительно запах. Пискнула полевая птица. Сознание помутилось и снесло второе четверостишие. Я торопливо полез в рюкзак за чернильницей и пером. Пала с опущенных плеч футболка:

Перепела кричат, что близок
Июля яблочный огрызок,
А вязкий зной в колосьях ржи
Степные лепит миражи…

На страницу со взмокшего лба шлепнулись две капли. Едкий пот снедал пылающие скулы. Я поискал лопух или подорожник – что-нибудь широколистное, чем можно прикрыть нос, и не нашел. Лишь колосья там росли, полынь да цветики мать-и#мачехи. Были деревья – дуб с маленькими никчемными листиками и полуголая фисташка. В ее сомнительной тени я устроил привал, бережно глотнул воды. Прав, прав был Циглер, лучше бы не упрямился, а взял целую бутылку – тут такое пекло…

Из блокнота я выщипнул листок, облизал и налепил на переносицу. Плечи саднили, будто их ободрали наждаком. Покраснели руки. Нужно было как можно быстрее добираться до Судака.

Я снова поглядел на часы – без пяти минут полдень. Сокрушающее южное солнце стояло в зените. Кругом были курганы, поросшие русой травой, – в желтых и розовых соцве-

тиях, похожих на акварельные капли. Прорезались зыбкие полоски облаков, точно кто-то усердно полировал небо и затер голубую краску до белой эмали.

Я продирался сквозь окаменевшие травы, ранил лодыжки, уже не понимая природы боли, – сгорели, оцарапались? Не выдержав когтистых приставаний, полез за джинсами. Надевая, исторгал стоны. Одутловатые ноги еле помещались в грубые штанины. При ходьбе жар пробивал плотную ткань тысячей горячих иголочек, словно наотмашь хлестал еловой веткой.

Как после крапивы, горели руки. Куда их было спрятать? Одеждой с длинными рукавами я опрометчиво не запасся. Мне бы совсем не помешала шляпа или панамка с утиным козырьком, но таковых у меня не было, я презирал любые головные уборы – зимние, летние, они не водились у меня…

Бумажный намордник слетал каждые несколько минут, я заново его облизывал, а в какой-то раз мне уже не хватило слюны, чтобы прикрепить его к носу.

Я достал парусину и с головой завернулся в нее. Тяготил рюкзак, на спину его было не набросить, он комкал мой балахон и натирал ожоги на лопатках. Если нести в руке, нещадно толкал пламенеющую ногу. Поначалу получалось удерживать рюкзак чуть на отлете, потом устала кисть. Выход нашелся: я надел рюкзак на грудь, из горбуна превратился в роженицу.

Вдали увидел деревцо и чуть ли не бегом рванул к нему. Достиг и закричал от досады – то был можжевельник, издали зеленый, вблизи – дырявый, в реденькой хвое. И везде, куда ни кинуть взгляд, холмилась выгоревшая травяная пустыня. Я уже не понимал, куда мне идти…

Решил соорудить спасительный навес, чтобы под ним переждать жару. Можжевельник хоть был невысок, с кривым, будто поросячий хвост, стволом, но ветки его находились в полутора метрах от земли. Вместо навеса я ставил какой-то парус. Чертово солнце стояло высоко, и проку не было в такой защите. В этот отчаянный момент родилось очередное четверостишие. Я достал чернила. Пока жара нещадно шпарила согнутую спину, записывал:

Я в символической пустыне
Месил зыбучие пески,
И солнце, желтое, как дыня,
Сверлило пламенем виски.
Слетел нежданный серафим…

Я отложил блокнот, обвязал ствол можжевельника углами парусины. Получилось нечто, похожее на перевернутый гамак. Для мягкости я подложил под спину надувной матрас. Накачивая, чувствовал, что из легких вылетает горючий воздух, словно из пасти Горыныча. Матрас был жарче натопленной печи.

Укрылся, но солнце бесстыже лезло, как под юбку, прихватывало, щипало. Проблемный фланг я защитил купальным полотенцем, лежал, подтянув ноги, – лишь так получалось спрятаться. Чтобы отдохнули взмокшие ноги, разулся. Кеды поставил рядом с рюкзаком.

Вода на вкус была не газированной, а кипяченой. Я сделал несколько глотков, и фляга опустела. Я отложил ее, закрыл глаза и провалился в сон.

Очнулся, как от удара. Голова ушибленная гудела. Потянулся за часами, дотронулся и одернул руку – они нагрелись, точно расплавленный свинец. Я подбрасывал кругляш в ладонях, студил, будто печеный, только из углей, картофель. Потом открыл – остановились на двенадцати минутах первого. И я уже не знал, который час. Наступил вечный полдень.

Лежать нельзя – подохну от жары. Нервически хотелось пить, трясло: воды, воды! Я сорвал можжевеловую щепотку, положил в рот – не помогло. Беспокоила правая стопа,

она горела, словно ее объели муравьи. Я посмотрел и понял причину. Пока я находился в забытьи, нога выскользнула из укрытия. След был как от кнута – жгучей красной полосой.

Наперво облегчил рюкзак, высыпал тяжелые консервы. Шашкой вырыл ямку и зарыл банки – вдруг еще вернусь.

Кеды пропеклись, их резина стала мягкой, ее можно было отщипывать, как мякиш. Я смог обуть левую ногу, а правую, подгоревшую, оставил в носке. Посох сперва выбросил, затем сообразил, что без него хуже, и снова подобрал. Выступающую опорную руку полностью обмотал футболкой. Таким и пошел дальше – с головы до ног в парусиновой попоне. При каждом хромом шаге на брюхе звякали бубенцами ослабшие застежки рюкзака. Я был похож на прокаженного. Один в безлюдном раскаленном мире.

Дорога медленно истончилась до одной колеи, та, в свою очередь, обернулась тропинкой, которая затерялась под камнем, покрытым ржавыми разводами лишайника. Я будто уперся в прозрачную границу.

Меня окутывал зной, отлитый из золотого и голубого звонкого металла, – живое, дышащее мартеновским жаром, существо. Я спохватился, что давно умолкли кузнечики. Наступило безветрие, и не шумела высохшая трава. Я перестроил слух на тишину и сразу же услышал тихое равномерное потрескивание – то в солнечном великом огне рассыхалась степь.

Вдруг подала голос одинокая и громкая цикада, звук был железным, словно кто-то невидимый прозвенел связкой ключей. Вслед за этим раздался скрип – такой бывает, когда отворяют подпол…

Вековой страх потрогал мой загривок, подтолкнул – иди! Я переступил ржавый камень, шагнул.

Я был на холме, а внизу поле цвета охры – ни стебелька, ни кустика. Рядом пролегала битая и пыльная дорога. Я спустился вниз, одна нога в носке, вторая в кеде. Шаркал, спотыкался, в голове вместо мыслей кружил бумажный пепел.

Вдруг ощутил, что странно переменился. Куда-то подевался стыд. Я будто уже не считался человеком, утратил ум, приличия и внешний вид. Если бы мне захотелось помочиться, то не снял бы джинсов, не поднял балахона. Рот пересох, но пить не хотелось. Жажда затаилась, как давнее пережитое горе, которое всегда рядом и уже не мешает.

Чувствительной горячей спиной я ощутил чье-то присутствие, оглянулся – но увидел лишь пройденный путь с холма, пустынную дорогу в камнях, похожих на черствые куски хлеба.

Страх настиг и приобнял за ребра – я услышал шелестящие вкрадчивые шаги и хриплое придыхание. Кто-то подкрался ко мне. Сердце дергалось, точно его пытались оторвать, как рукав у рубашки.

Я резко повернулся всем корпусом, отмахнулся посохом…

У моих ног шевелился большой полиэтиленовый пакет. Он был исполнен воздуха, выкатил надутую грудь, словно токующий тетерев.

«Дурак», – пробормотал я. Он пошумел, будто в нем кто-то завозился. Я посохом подбросил пакет – он был невесом и пуст.

Пошел, и пакет немедля тронулся за мной вдоль дороги. Вырвался вперед, замер, чтобы подождать. Я встал столбом, он вернулся и закружил вокруг меня. Это было и смешно, и жутко – ученый, как служебный пес, пакет…

Решил прогнать его, замахнулся. Он вспорхнул с дороги и уселся в нескольких метрах. Отпрыгнул на шаг, другой, точно куда-то приглашал. Я проковылял мимо, он раздраженно кудахтнул, полетел вдогонку, приземлился и вдруг затрещал на ветру – вибрирующей призывной трелью. Я посмотрел на него, он снова что-то прошамкал пластиковым ртом и низко полетел над полем. Я сошел с дороги, двинулся вслед за пакетом. По сути, мне было все равно, куда идти.

Я заметил, что пропало солнце, а небо при этом оставалось чистым, без облаков, и только синева стала напряженней. Я больше не ощущал зноя, он кончился.

Поле становилось пологим склоном горы. Мы поднялись, и пакет, словно исполнив свою работу, взмыл, унесся.

Я увидел пустырь, напоминающий вытоптанную лошадями цирковую арену. Вокруг росла трава, похожая на распустившийся камыш.

Пробежали вереницей три собаки: вокзальные, феодосийские, пошитые из мехового рванья. Они меня немедленно узнали, и каждая пристально глянула в лицо. Я поразился их мудрым человеческим глазам. Последняя лукаво улыбнулась, и я понял, что это Циглер.

Я шел по тропе, желтой, как пшено. Мне предстало маленькое деревенское кладбище. Забор отсутствовал, землю живых и мертвых разделяла канава. Могилы были убраны в оградки, будто звери в зоопарке. Там, промеж надгробий, цвела сирень, и тонкие фруктовые деревья стояли по пояс в белой известке. Кладбище оказалось малонаселенным, могилы не жались друг к дружке.

Я подошел к плите, белой и широкой, как стол. Примостился на теплый угол, с таблички прочел, что под плитою похоронен второго ранга капитан Бахатов. Имени не было, там вообще на памятниках и крестах почему-то отсутствовали имена – значились одни фамилии.

Я снова поразился тишине. Ни ветра, ни жуков, ни бабочек. Ужас вкрадчиво взял за грудки. Откуда в начале июля цветущая сирень, почему трава пушит одуванчиками?

Раздались женские голоса. Вдоль кладбищенской канавы ковыляла нарядная старуха в синей долгой юбке, светлой с вышивкой блузе, на плечах платок – так наряжаются на сцену исполнители народных песен. Плелась за молодой женщиной: та шла по дороге, одетая в домашний ношеный халат, на руках несла ребенка, спящего или просто притихшего.

Старуха канючила:

– Анька, дай малую подержать! – Заносила над канавой ногу, но не решалась или не могла переступить расстояние.

– Я же сказала – нет! – Молодая отвечала спокойно, но очень жестко.

Старуха оглянулась, заметила меня:

– Ну, Анька!.. Доча! – Тон ее сделался извиняющимся, точно старухе было неудобно перед посторонним за чужую грубость. – Анька, дай же!.. Уважь мать! Хоть потрогать!

– Мама, возвращайся к себе! – Женщина говорила и прижимала к груди спящую девочку.

Она тоже меня увидела – сидящего на могиле в причудливом тряпье. Сказала радушно:

– Здравствуйте!

Я кивнул в ответ. Она продолжала, эта Анна:

– Вы, главное, по канаве со стороны кладбища не ходите! Только по дороге, слышите?!

– Анька! – Старуха злилась, топала ногой, обутой в черную лаковую туфлю. – Дай бабушке малую подержать!

Они ушли, затих разговор. Я еще чуть отдохнул на капитанской могиле, спохватился, что не спросил у местных, где Судак.

На дороге уже не было ни старухи, ни женщины с дочкой. Из-за кладбищенского поворота показался мужчина, в настежь распахнутой светлой рубахе. Он странно шел, выбрасывая ноги вперед, как в украинском танце. Они опережали все его туловище, ноги в закатанных до колен серых штанах, на босых грубых ступнях – черные, словно покрышки, стоптанные шлепанцы. Рядом резвился мальчик, смуглый и юркий, с виду лет семи. Я поначалу принял его за короткошерстного пса, но разглядел в нем не выросшего человека. Он был еще горбат на одно плечико, а маленькое лицо светилось умом и бешенством.

Мы встретились. Мужчина остановился, а мальчик заплясал на месте – дурачился.

– Знаете, какой он сильный, – улыбнулся мужчина. Обветренное, в глубоких морщинах лицо его было коричневого картофельного цвета. На открытой груди виднелся шрам, как два сросшихся накрест дождевых червя. Он произнес:

– Сашка, а ну, покажи дяде!

Горбатый малыш загудел мелодию: «Советский цирк умеет делать чудеса», обхватил мужчину за ноги и легко поднял. Поставил на землю и засмеялся, показав уродливые, набекрень, зубки.

Я спросил:

– А вы отсюда?

Приветливое лицо мужчины вдруг стало твердым и гордым:

– Бог не сделал для меня ничего хорошего. Поэтому я за Сатану!

Он отвечал не на мой, а на свой самый главный вопрос.

Мальчишка высунул алый, точно перец, язык и замычал. Я присмотрелся к его нечистым маленьким рукам и поразился, какие у него длинные ногти – мутного стеклянного цвета.

Я спросил:

– Как называется это место?

– Меганом.

– А море далеко?

– Там, – он взмахнул рукой, словно бросил в направлении камень. Указывал на замшевые холмы неподалеку.

Я восходил на вершину, будто поднимался по ступеням из ущелья. Поднялся и увидел потерявшееся солнце. Оно уже клонилось к закату, большое и желтое. В тускнеющем небе облачным пятном просвечивала луна. Над косматою травой дрожало жидкое марево спадающей жары. Бог его знает, где я полуденничал, но на этих вечереющих холмах день определенно заканчивался.

Мне вдруг открылся край земли, а за ним синева. По далеким волнам, похожий на плевок, мчался в белой пене прогулочный катер – прямиком к городу на побережье.

Каменистый склон дал ощутимый крен. Я ступил на грунтовую дорогу. Рядом с обочиной валялся песчаник в рыжих лишаях. Перешагнул через него и понял, что скоро мой путь закончится.

Дорога разбежалась врассыпную десятком направлений. Кренистой, крошащейся тропкой я спустился к морю – в бирюзовых маленьких лагунах. Дикий пляж походил на заброшенную каменоломню. Среди валунов стояла укромная палатка.

Я вспомнил про свой прокаженный вид. Скинул с головы парусину, пригладил волосы. У несуществующего порога подобрал два булыжника и постучал ими, как в дверь. Тук-тук.

– Есть кто-нибудь?..

Никто не откликнулся. Я оглядел чужую стоянку, походный быт подстилок и натянутых веревок, закопченный очаг. Сохли черные котелки, эмалевые миски, пара ласт, похожих на лягушачьи калоши.

Хозяева ушли, возможно, за пищей или на сбор хвороста. В искусственной тени каменной ниши я увидел белые питьевые канистры. Не поборол соблазна, потянулся. Там была вода. Я пил, как прорва, не отрываясь. И сразу опьянел. Без сил присел у места воровства. Ждал людей, но раньше проснулся голод. Поужинал сухарями и колбасой. Мне казалось, что у меня во рту растаяли все зубы, точно они были из рафинада, я пережевывал жесткую еду вареными деснами.

В рюкзаке, помимо еды, нашлась целлофановая пленка из-под сигарет. В ней – размякшая черная смола. То был маленький идол, вылепленный мной из битума, – один из четы-

рех. Я взял его с собою, траурный символ, а он потек от жары, словно оловянный солдатик, превратился в пахнущую гарью размазню.

Не было божка, не существовало больше моей смешной любви. Я отбросил пачкучий целлофан.

Хозяева не возвращались. Я помаленьку разоблачился: распеленал руки, совлек с проклятьями прикипевшие к туловищу футболку и джинсы. Я напомнил себе обгорелого танкиста.

Красный, как петрово#водкинский конь, зашел в море. Нырнул и поднял облако кишащих пузырьков, зашипел, подобно свежей кузнечной заготовке.

Море не успокоило зудящую кожу. Выбрался на сушу. Кружилась голова, тело жарко пульсировало, будто я окунулся в прорубь.

Никто не возвращался. Солнце ушло за гору, склон сразу потемнел, поблекла нежная морская бирюза. Луна все явственнее проступала в сером небе, белый ее призрак наливался желтизной. Далекой блесткой подмигивала Венера.

Я достал часы, глянул на всякий случай. Они показывали начало десятого. Чудаковатые часы вышли из спячки и нагнали упущенное время. Или они не останавливались…

Я второй раз приложился к канистре и наполнил мою флягу. В рюкзаке завалялась случайная консервная банка скумбрии. В блокноте на последней страничке я написал чернилами послание дикарям: «Ребята, взял у вас воды, простите, что без спроса», оторвал листок и придавил консервной скумбрией, чтоб не улетел – не бог весть какой, но все ж таки калым…

Я помочился в море желтым лунным светом. И отправился наверх, искать себе ночлег. В степной траве, среди полыни и шалфея я надул упругий матрас, прикрыл его парусиной. Горячей рукой в два счета дописал четверостишия – початое и новое.

Слетел нежданный серафим,
И задавал свои загадки.
Их смысл, кажущийся гадким,
По сути, был неуловим.
Слова звучали, как шарманка,
И открывали взгляд на мир.
И хлопьями летела манка
Из голубых вселенских дыр.

Без интереса и души водил пером, зная, что это поэтический послед прошлой жизни. Мне было чудно и одиноко. Я ощущал необратимую органическую перемену.

Я понимал, что со мной теперь навеки сияющий огненный полдень, железный треск цикады, глазастые собаки, фамилия мертвого капитана и нечистые ногти маленького горбуна.

Заранее грустил и тосковал, что с этой звездной ночи я буду только остывать, черстветь, и стоит торопиться, чтобы успеть записать чернилами все то, что увиделось мне в часы великого крымского зноя.

Михаил Елизаров

Паяцы

Сердце изболелось, глядя на Марину Александровну и Вадима Рубеновича.

У летнего кинотеатра сцена фактически отсутствовала, только коротенький выступ, похожий на обиженную нижнюю губу – точно кинотеатр вот-вот расплачется, – поэтому к этой выпяченной губе специально пристроили подмостки и две фанерных кулисы.

На Марине Александровне были холщовые шорты на косой помочи, поверх родной прически – зеленый поролоновый ирокез.

– Слушайте новости! Свежие огородные новости! – выкрикнула деланым мальчишеским голосом.

– Ах, зачем ты так шумишь, невоспитанный мальчишка?! – подхватил реплику Вадим Рубенович.

К подбородку он приладил седой козлиный локон, а на переносицу самодельное, из проволоки, пенсне. Халат и шапочка были поварские. Чтобы превратить их в одежды сказочного лекаря, на шапочке губной помадой нарисовали жирный крест.

– И где ты только вырос?

– На грядке, синьор! Разве вы не узнали меня?! – Марина Александровна прибавила задора.

– О, конечно же, узнал! – лукаво отозвался Вадим Рубенович, профессионально повернувшись к зрителям. – Достаточно взглянуть на твою головку-луковку!

Марина Александровна была за Чиполлино, а Вадим Рубенович, стало быть, изображал Айболита. Это все называлось «затейничество». Два сказочных персонажа в течение полутора часов занимались групповым развлечением отдыхающих малышей – песни, пляски, конкурсы с копеечными призами.

То есть Вадим Рубенович, к примеру, играл на аккордеоне, а Марина Александровна пела игрушечным дискантом: «А#а#блака-а#а, белогривые ло-ша-а#а#дки!»

Главное, чтобы дети подхватили песню. Марина Александровна для этого делала такие приглашающие движения руками – мол, давайте, все вместе, хором: «А#а#блака-а#а#а…»

Или конкурс. Чтение стихов. Любых, кто что вспомнит. Искусство Марины Александровны заключалось в умении обнаружить потенциального добровольца, а потом заманить его на сцену…

В пионерском лагере «Дельфин» вместо настоящих малышей администрация согнала подростков. Бессовестных, шумных, омерзительного пыльно-копченого цвета – июльская смена подходила к концу. Похожие на павианов, они по-собачьи улюлюкали и не желали участвовать и подпевать. Я смотрел на Марину Александровну и Вадима Рубеновича, испытывая чувство беспомощного стыда.

Я сошелся с паяцами неделю назад. Приехал, изнуренный удушливым плацкартом. Крымский зной оглушил. Я снял втридорога комнату в крепких кулацких хоромах из песчаника. Панцирное ложе было продавлено и больше напоминало гамак. На полдня я забылся обезумевшим сном. Очнулся, вконец угоревший, поплелся к морю.

Мое северное туловище под солнцем казалось мне даже не белым, а ливерно-сырым. Я застеснялся самого себя и пошел искать укромное место. Вначале шел через раскаленную толпу по набережной, мимо дышащих мясом и тестом лотков, мимо скрипучих причалов,

мусорных баков, набитых выеденными арбузными черепами. Воздух от жары дрожал и звенел. Пахло водорослями, кипарисами, жареной осетриной и общественными уборными.

Наконец, асфальтовая тропа скатилась под гору, растворилась среди камней. В вышине, похожая на шахматную ладью, желтела античная руина. Рядом переливалось кварцевыми искрами зеленое пышное море.

– Эй! Молодой человек! Вы сгорели! – крикнула мне Марина Александровна. – Немедленно сюда! Тут за камнем тень!

Я пошел на зов. Старался смотреть не на Марину Александровну, а вокруг. Всю ее ладную фигурку покрывала высохшая глина цвета нежной патины. Миниатюрные грудки были размером с крышку от заварного чайника. Низ живота заканчивался волнительной эспаньолкой. У керамических ног Марины Александровны сидел глиняный, как голем, худой и голый Вадим Рубенович – улыбался. Так мы познакомились.

Вадиму Рубеновичу было сорок лет, Марине Александровне тридцать шесть. Жили они вместе восьмой год, но только в этом апреле расписались – молодожены…

Вадим Рубенович, сколько себя помнил, работал в самодеятельности, Марина Александровна раньше отплясывала в народном коллективе. Подружились они здесь, на отдыхе, подумали и соорудили три программы: детскую, взрослую – всякие юмористические сценки, – и певческую – романсы, песни из репертуара Никитиных…

– Мишенька, я видел, как вы за нас переживали, – Вадим Рубенович поливал из рукомойника свою лысую, как пешка, смуглую голову. – Вам кажется, что мы оскорблены, унижены… Это неправда. Взгляните на ситуацию по-другому. Мы три месяца проводим на море, отдыхаем и при этом зарабатываем неплохие деньги. А на всяких оболтусов внимания не обращаем. Да, Мариш?

Мы встречались на камнях каждое утро. Паяцы так потешались над моими плавками, что на второй день я отважился и снял их, плавки. Затем позволил Марине Александровне обмазать себя глиной, превратить в истукана.

– Мишулечка, – щедро восторгалась Марина Александровна. – Какое же у вас красивое тело! Аполлон! Аполлон!

– Вы тоже очень красивая, – хвалил я Марину Александровну. Стройные балетные ноги, пожалуй, выглядели излишне крепкими, громоздкими. Вообще, нижняя часть Марины Александровны была словно на размер больше верхней ее половины. Но в целом она выглядела хорошо. Белозубая, зеленые, цвета крыжовника, глаза.

Мне было двадцать два года, и немолодые паяцы взялись опекать меня. Подкармливали абрикосами, грушами, виноградом. Ночами провожали до калитки – я расточительно поселился рядом с морем, а они снимали где подешевле – экономили.

По утрам Вадим Рубенович уплывал на крабовую охоту, плескался среди подводных камней. А Марина Александровна нежно покрывала меня глиной. Поначалу только спину, но потом как-то случайно я подставил ей живот, поворачиваясь, точно горшок на гончарном круге.

Однажды, когда Вадим Рубенович, взбрыкнув ластами, надолго занырнул, она приложила к моему паху ладонь, полную жидкой глины, и прошептала каким-то оступившимся голосом:

– И здесь тоже надо намазать…

Я вздрогнул. Мы оба, как по команде, уставились на волны, не всплыл ли Вадим Рубенович. Над водой лишь парила одинокая чайка, похожая на матроску цесаревича.

Вечерами на набережной гремели дискотеки. После той распростертой чайки Марина Александровна не позволяла мне знакомиться с ночными крымскими девочками, легкими, блестящими, как стрекозы. Стерегла меня, улучив мгновение, припадала к моему уху горячим от выпитой «Массандры» шепотом: «Обожаю, обожаю тебя…»

Дома я укладывался в свой железный гамак, представлял Марину Александровну и облегчал себя рукой.

Мы изнывали. Вадим Рубенович погружался в пучину, я стремительно приникал к Марине Александровне, коротко впивался губами в ее крошечную грудь, точно не целовал, а клевал. Или же мы жадно схлестывались солеными горячими языками – ровно на протяженность вдоха Вадима Рубеновича, едва успевая отпрянуть друг от друга, прежде чем над водой блеснет на солнце стекло его маски. После каждого такого рваного поцелуя глиняный кокон в моем паху раскрывался, выдавая меня с потрохами…

В канун моего отъезда мы попались. Вадим Рубенович возвращался с охоты каким-то излишне торопливым брассом. Почти бегом подошел к нам. Я быстро перевернулся вниз животом, чтобы скрыть вздыбленный бесстыжий потрох. Вадим Рубенович с высоты роста посмотрел мне в лицо, будто заглянул под кровать.

– Михаил, вы поступаете очень дурно, – резко сказал он.

– А что случилось? – Недоуменная беспечность не удалась. Голос скрипел на зубах, словно каждое слово обваляли в песке.

– Вы сами все прекрасно понимаете, – Вадим Рубенович даже не смерил, а точно взвесил меня презрительным взглядом, и отбросил в сторону. – Марина, собирайся, мы уходим!

– Какая-то глупость… Недоразумение… Глупость, – бормотал я, чувствуя спекшиеся от неловкости щеки. Марина Александровна молча набивала сумку. Вадим Рубенович, надев на руки ласты, похлопывал ими, как ладошами – поторапливал.

Они ушли. Я маялся. Представлял, что там, за валунами, Вадим Рубенович, так и не снявший хлесткие ласты, будто оскорбленный тюлень, отвешивает Марине Александровне злые пощечины, а она покорно принимает их и не закрывает виноватого лица.

И на третий день пошел знакомиться…

И на третий день пошел знакомиться с девушкой из киоска. До этого я покупал там кефир, то есть совершал действия человека, к насилию не склонного. Она согласилась встретиться и в условленный час явилась с переброшенным через руку пледом.

– Не на песке же… – пояснила. Вот голубушка! Я раскололся на бутылку «Новосветского». – Ты в армии служил? – некстати поинтересовалась киоскерша.

– Зачем об этом? – Я горько улыбнулся прошлому, поводя обожженными, свекольного цвета плечами. К образу также прилагались скрещенные пожарные струи и рявкающий из кустов медный раструб геликона.

– У тебя фигура, как у десантника.

Я приосанился и перешел на строевой шаг.

– А моделью никогда не работал?

– Приходилось… – Я грациозно завихлял бедрами.

– Гири тягаешь? – Ощупала мой бицепс.

Я был раздосадован. Рука напоминала перетянутый в двух местах колбасный отрез.

– Ой, светлячок, смотри, – киоскерша ткнула пальцем в фосфоресцирующий из травы плевочек.

– Какой чудный! – Я прямо истек юннатской радостью.

– А если его подобрать, он погаснет…

– Как все в этом мире, – подхватил я. И вздрогнул. Я#то надеялся, что стану говорить подобное только к старости. «Уж лучше бы промолчал», – казнился, позабыв прописную истину, что после чувственного слияния с природой всякая баба ждет, что ей не дадут опомниться…

Из окон двухэтажного сарая доносился визгливый треп на татарском или Бог знает каком наречии. Обмазанная глиной, украшенная ракушечником, с колоннами на входе, постройка являлась местным казино. Во дворе жарилась дохлая осетрина, и от исподнего рыбьего запаха немели и выворачивались ноздри. Хлопнула калитка, и я увидел угольный набросок нового посетителя с двустволкой.

– Опять стреляться будут, – равнодушно сказала киоскерша.

«Сталина на них нет», – впервые в жизни подумал я. Мы вышли к трассе. За ней прорезалась полоса пляжа, а дальше море, и в нем отражение яичной, с кровавой каплей, луны.

– У нас чаще всего ночью тонут. – Киоскерша скинула сарафан. – А одного из Днепропетровска наши придурки сами утопили…

– За что? – Я плюхнулся задом в барханчик.

– Е…ся очень хотел. Как и ты! – Киоскерша открыто засмеялась. Не добежав до прибоя, она развернулась. – Так что не распаляйся. – И море съело ее. Остался только голос:

– Не сиди на песке, яйца застудишь! Одеяло расстели…

Я знал, почему мне грустно. Шампанское стоило столько же, сколько беззаботный крымский день с персиками и пивом. Даже если я выпью половину нелюбимого мною напитка, то горечь ситуации и вторые полбутылки перевесят все.

Киоскерша в мокрых блестках вышла из воды.

– Подвигайся. – Она промокнула лицо краешком сарафана и опрокинулась на спину. – Чего скис, кавалер?! – Полные звезд, ее глаза сверкали, как пенсне.

Я тем временем лущил серебряное горлышко «Новосветского»:

– Пьем?

– Да не хочу я твоего шампанского, от него в желудке бродит…

У меня возникло серьезное опасение, что на почве воздержания я повредился и тосковал вслух. Я решительно откупорил зашипевшую, как сковорода, бутылку и протянул киоскерше:

– Хоть глоток выпей. Для тебя покупал…

Она приподнялась на локтях:

– Если для меня, почему не спросил, чего мне хочется? Я водку люблю.

Чтобы не оправдываться, я отпил пенный вершок.

– Ты откуда приехал? – спросила.

– Из Харькова…

– Не была… – Она перехватила бутылку и расторопно, граммов на сто, присосалась. – Ой, гадость редкая… Ну, а он красивый, твой Харьков?

– Да никакой!

Мне сделалось сладко от мысли, что, унизив родное болото, я унижусь вместе с ним и, повесив на шею такой валун, быстренько достигну илистого дна, оборвется гирлянда пузырей, не качнется ряска, киоскерша удивленно спросит: «А что я, собственно, здесь сижу?» – и уйдет баиньки, тут я и воскресну…

– Уродливый, убитый город, смотреть не на что. Центр можно обойти за полчаса. Фигеем от Сумской, а вдуматься – ничего в ней нет, сраная улочка…

– Ты у нас зимой не жил, – киоскерша в несколько весельных взмахов похоронила в песке ноги. – Шторм, дождь… Этой зимой был снег, я играла в снежки…

Она повернулась ко мне. Я изловчился и поцеловал киоскершу в холодные губы.

– Все вы одинаковые, даже смешно… – Она коротко отхлебнула и впечатала бутылку возле моей ступни. – Допивай!

Я застонал изощренным, выверенным стоном – страсть, сдерживаемая опытом, нежность, укор слились в нем (так мне казалось) – и вторично приник, влип в ее безразличный рот. Я щекотал языком, как гадючка, закатывал глаза, отлипал, чтобы прошептать: «Ты такая красивая…» – и опять впивался, ловил кончик ее языка и обсасывал его, как воблу.

Оставаясь безучастной, она не мешала. Я расстегнул верх ее купальника. Обнажились миленькие грудочки, что лисьи мордочки, я обхватил губами крепкий сосочек и, покусывая, принялся выписывать слюнявые восьмерки. Через пять минут я представлял, что надуваю резиновый матрас. Она тихонечко икнула:

– Это от твоего шампанского.

Киоскерша сделала попытку привстать. Я утроил языковые усилия, судорожно мял пухлую половинку ее закатанного в нейлон зада, нависал всем телом… Сказала:

– Мне надоело, – и немыслимая порция норда была в прозвучавших словах.

Надев сарафан, она демонстративно заголилась, чтобы стащить с себя мокрый купальник. В каждом ее движении сквозила вера в собственную безнаказанность. Не в порядочности и не в страхе дело: я не мог взять киоскершу по другой причине – это было равносильно попытке долбить вечную мерзлоту.

– Ка-а#кой злю-у#щий, – игриво размазывая гласные, сказала киоскерша.

– Объясни мне, зачем ты пришла, если я тебе не нравлюсь?!

– Очень нравишься, с тобой так интересно…

На обратном пути я разыгрывал вычурную беспечность, сорил анекдотами, размахивал, пританцовывая, руками и пел на итальянском. Киоскерша все поняла превратно:

– Во как тебя развезло…

Кодекс чести поселковой бабы строго-настрого указывал заботиться о пьяном, отгонять от него агрессоров, не давать ему падать и ушибаться, разрешал журить, но незлобиво, – иначе позор, отлучение от печи и рубки дров: «Слабенький такой, глазки косенькие…»

Упрямо настаивая, что трезв, я сделал глубокую, переходящую в журавля, ласточку. Демонстрируя чудеса памяти, в кафе возле набережной купил нам по стакану водки.

– Ой, не надо бы… – поддержала авантюру киоскерша.

Помню, бармен скалился и подмигивал, потом я долго, как слон, ниагарил под ствол маслины, все более окунаясь в восковую дрему. Киоскерша проводилась домой без моего участия. Не включая света, спазматичными рывками я стянул маечку, клозетным движением спустил шорты, избавился от тапок и рухнул без сил на койку. Мне приснился цветной, игровой сон, в котором последовательно дублировались события прошедшего вечера, вплоть до момента, когда я вжикнул ширинкой, чтоб отлить. Сработал автостоп, и я проснулся.

Я ощупал простыню и счастливо убедился, что не оскандалился. Не вынырнув толком из сомнамбулической дремы, я толкнул дверь, распахнувшуюся с неожиданным стуком, и шагнул за порог, расставив для равновесия руки, точно собирался идти по канату.

На скамейке у летних умывальников курил на луну юный сосед. Во вчерашней беседе он нашел повод ввернуть, что, учась в десятом классе, подвел итог числу своих любовниц – их оказалось тридцать. Я тогда еще подумал, что был скромнее в его возрасте и врал про сумму на десяток меньше…

Сквозь сон и хмель я увидел, что сосед странно взволнован. Он вскочил и, тыча сигаретой в небо, зашептал, будто оправдываясь:

– Ночь… Душно… Я покурить вышел, только покурить!

– Конечно, – я смахнул комара с его щеки.

– Да покурить же, только покурить! – пролаял выхлопным кашлем сосед и отскочил, вскинув к лицу кулачки.

Я механически улыбнулся и пошлепал в сортир. Возвращаясь через минуту, отметил, что соседа на скамейке уже нет.

Проснулся поздно, ближе к полудню. Первым обнаружилось то обстоятельство, что спал я голым. Трусы, очевидно, снялись вместе с шортами. Я вспомнил перекосившийся рот юного соседа и забеспокоился. Вид пьяного десантника без трусов мог быть ему неприятен. Я успокоил себя, что после завтрака найду соседа на пляже и извинюсь за ночной стриптиз. В том случае, если он придал ему значение.

В голове стояла переменная облачность, и я оделся, жестко фиксируя внимание на том, что надеваю.

На кухне хозяйка проворно сортировала по корзинам утренний сбор крыжовника и смородины.

Я вскипятил воды и заварил бульонный кубик.

– Отраву жрешь, – хмыкнула хозяйка. – Я курку вчера резала, давай насыплю живого бульончику.

– Спасибо, только у меня на курицу аллергия…

– Это оттого, что привык говном питаться. И аллергия будет, и язва!

Я достал из холодильника пенек салями и бережно произвел срез.

– Синтетика, – громко удручилась хозяйка и с материнской расторопностью подхватила корзины, как колыбельки. – Сосед твой сегодня уехал, на неделю раньше, я деньги вернула, но мне же обидно, что люди скажут, а он говорит: «Аллергия на солнце»… Он, правда, поганенько выглядел, и вроде морозило его, я говорю: «Ты к доктору в санаторий сходи» – а он: «Нет, лучше домой поеду» – и побежал чуть свет на автобус… Ты абрикос хоть поешь, я тебе повыбирала.

Хозяйка взглядом указала на артиллерийскую пирамиду на столе и заспешила к воротам. Подошло время крымской сиесты, и с пляжа потянулись вереницы курортников.

Выбрался к морю…

Выбрался к морю – и солнце, воздух и вода в три дня сделали из меня кромешного урода. Обгорел, облез. Волосы свалялись и закурчавились, синяки под глазами налились плодовой тяжестью. Вдобавок я обильно покрылся ватрушкообразными прыщами: розовый пухлый шанкр, величиной с крупную горошину, а в середине ссохшаяся сукровица.

Поначалу меня даже принимали за местного алкаша-наркомана, и не особо чванливые приезжие добродушно расспрашивали, почем в поселке анаша и где самый дешевый портвейн. А потом я вовсе загнил, и люди перестали обращаться ко мне за советами.

Я пытался противиться заразе, покупал щадящие кишечник ананасовые йогурты, но паршивел и шелушился. На теле проявились экземо-лишаеподобные разводы и зудящие наросты.

Аптекарша, едва взглянув на меня, выудила откуда-то снизу «Трихопол» и презрительно швырнула на прилавок. Я прямо-таки сник от обиды и пояснил:

– Это что-то вроде грибка. Мне нужна какая-нибудь протирка на спирту или эмульсия, – и сунул ей под нос узорчатую, как удав, руку.

Аптекарша брезгливо отпрянула.

– Протирка тут не поможет.

Она умно скривилась и надела очки в толстой оправе.

– Вам, молодой человек, к врачу надо. Может, у вас инфекция в крови…

– Псориаз?! – гадливо охнул я.

– Похоже на псориаз. Или хуже… К врачу! В Алушту!

На улице ко мне подошел развязный испитой мужик, похожий на ведущего «Клуба кинопутешественников» Юрия Сенкевича. Он сказал сундучным голосом:

– Когда я пацаном работал в далеком северном порту Ванино, в механическом цеху случилось несчастье. Женщина попала волосами в токарный станок, и ей сломало шею.

– А у меня, – я пальцем потыкал в свои болячки, – горе. Что делать – не знаю. Подохну скоро! – задорно так произнес.

«Сенкевич» послюнил ноготь и сковырнул с моего плечевого прыща подсохшую гнойную накипь.

– Ты знаешь, что такое урина?

– Урина – это моча…

– Ты простудил кожу. – «Сенкевич» назидательно напряг указательный палец. – Когда заходишь в сортир, чем пахнет? Пахнет так, что глаза дерет? Это аммиак. Думаешь, хирурги перед операцией дезинфицируют руки спиртом?

Я молчал, раздавленный своим невежеством.

– Знаешь, что такое – родная урина?

– Урина – это моча.

– Она все может, родная урина.

Так я стал каждое утро обливаться золотистой мочой. Солнце выпаривало ее до кристаллов, и я сверкал, как соляной столб. Соседи потаенно вздыхали. Я подслушал их глухие голоса:

– Мальчик нездоров. Стульчак бы надо обрабатывать после него. Хлорной известью.

Я перестал оправляться в нашем уютном фанерном сортирчике. Таясь, я поднимался чуть свет и уходил в далекие камыши лимана, срал там, осторожный, как степной байбак, потом брел на дикий пляж, подальше от пансионатов и пионерских лагерей.

Я бросался в море и уплывал на одинокий утес, чтоб в уединении праздновать закат моего тела. В шторм вокруг утеса всегда бились тяжелые волны. Неудобный сам по себе,

ребристый, скользкий утес постоянно захлестывало, и поверхность камня украшалась расплющенными медузами и скальпами водорослей. На утесе я холил, жалел свое больное тело, скоблил жесткой мочалкой, ссал в пригоршню, обливался, обсыхал – и опять терся мочалкой.

От скуки я вылавливал быстрых крабиков, целовал им клешенки. Крабики щипались, и я раскусывал их пополам. Когда на скрипучих катамаранах проплывали счастливые семьи, я распластывался на камне, сжимался, как анус, и с ненавистью бормотал:

– Прокаженный, прокаженный!

Я жил на камне весь день, питаясь сырыми злаками и похищенными фруктами.

Если становилось невыносимо жарко, я сползал в широкую расщелину у воды.

Каменный выступ защищал меня от прямых солнечных лучей, я лежал не шевелясь, разглядывая свои длинные белые ноги, ранящие сходством с дохлыми рыбинами.

Но вечер густел, напитывался ночью, и я выплывал на берег. Я подбирался к сумасшедшим огням дискотек и, хоронясь в тени треугольных кипарисов, созерцал танцующее людство, пахнущее дымом, сосисками, алкоголем, молоками. Я вгрызался глазами в каждую танцующую пару, вбирал их запах, примерял их чистые тела. Недобрым пастухом, завистливым наблюдал я вверенное мне стадо, пас до последнего аккорда, а после, в тишине, уходил на ночлег в свою конурку и спал там до рассвета чутким собачьим сном.

Однажды ранним утром с моего утеса я увидел бредущую по берегу пару: тощий брюнет и блондинка. Они, бедняжечки, шептались вполголоса, а я слышал каждое слово. Тощего звали Глеб, безымянная блондинка называла его так. Они шли в бухту Любви. На крымском побережье много таких бухт. Собственно говоря, так называют все труднодоступные местечки, куда можно попасть только вплавь или по крутой и узкой, в ладонь шириной, тропинке.

Любовники заметили меня, стоящего на камне, но не придали значения моему существованию. Я был для них заурядной деталью ландшафта: «Когда бы вы ни вышли к морю, всегда на камне будет этот странный йог-полудурок».

Последний шторм, как ловкий шулер, перетасовал водяные пласты, и вместо теплой, как суп, воды пришла ледяная зелень из самых глубин. В такой воде не купались даже дети. Только я, презирающий донельзя собственную плоть, плыл к моему убежищу.

Они решили пробираться в бухту по тропинке. У Глеба под желтушной кожей просвечивали ребра, блондинка шла, гримасничая ягодицами. Мой взгляд упал на них и задержался, но тут же был пережеван, растерт безжалостными, точно жернова, словами, которые шептали ягодицы.

Я привычно напоил мочалку, обтерся и озяб, с отвращением заглянув в мутно-промозглый омут, куда мне предстояло прыгнуть через мгновение. Прыгнул. Ледяная вода будто содрала кожу. Со мной чуть не случился приступ удушья, но я не позволил себе утонуть.

Глеб и блондинка осторожно карабкались от глаз подальше. Я полз за ними по обрывистой стене, проворный, как таракан.

Парочка сидела на одеяле, придавленном на четырех углах похожими на голые черепа камнями.

Огромный кулек с продуктами шуршал на ветру. Любовники уже подняли веселую возню, как вдруг с отвесной стороны явился незнакомец отвратительного вида, сухой и жилистый, в кровавых язвах. Он, не проронив ни слова, уселся ждать.

Уныло переглядываясь, любовники доели фрукты, свернули одеяло. Незнакомец встал во весь свой, как оказалось, исполинский, рост и закружился в стремительном туземном танце. Извиваясь червивым телом, он плясал, и страшная тишина, что сопутствовала танцу, приближала чувствительных любовников к обмороку. Им было бы достаточно выразительно воскликнуть: «П#шел вон, гнилье», – и облезлый тиран сгинул бы и разложился в прах.

Сердце урода грохотало первобытным тамтамом. Сердца любовников мелко стучали, как скальная осыпь. Урод стянул плавки. Затравленным их лицам предстал жабьего цвета треугольник с черным гнездом, и из гнезда виднелось морщинистое горло.

Глеб вскочил на ноги, и раскаяние черным флером упало на его лицо. Он пятился, осторожно переставляя ноги, пока не сделал шаг в пустоту. Потом был крик. Тощий Глеб падал на острые камни, торчащие из воды, как обломки гигантской вставной челюсти.

…Я спал около суток и проснулся совершенно исцеленным. Ни прыщика, ни пятнышка. Гладенький, как античная статуэтка. А когда вымыл голову, стал таким лапочкой, что жена моего хозяина вздохнула мне вслед:

– Господи, и хорошенький же какой… Прямо – артистка, и все тут!

На пляже мне довелось быть свидетелем отвратительной сцены: компания подростков морально истязала взрослого юношу Борю. Особенно усердствовал один, именовавший себя Иннокентием.

Жестокие играли в волейбол, и Боря, толстый, застенчивый и прекрасный, в нелепых сандалиях, пытался втиснуться в их круг, топтался в песке, руками призывая мяч, покрикивал, шутил. Но Иннокентий, а вслед за ним другие, злословили сперва иносказательно, потом открыто, и вся эта картина была настолько невыносима, что я отправился домой с осадком в сердце.

Роман Сенчин

Морская соль

Поначалу это был не поселок, а дорожная станция. Устраивали такие на тракте километрах в тридцати-пятидесяти друг от друга, и старинные, с цепями на клыках «ЗИСы», «ГАЗы», «МАЗы», «КрАЗы» переползали по узкой, с крутыми подъемами и спусками ленточке дороги от одной станции до другой; шофера отдыхали, отсыпались и ползли на своих громоздких, но маломощных машинах дальше… Четыреста километров от одного города до другого, которые сейчас пролетают часов за пять-шесть, тогда, полвека назад, занимали три-четыре дня, а то и больше. Смотря по тому, какая погода, какой груз, есть ли горючее на заправках… Да и редко без поломки обходилось…

На станциях были заежки, чайные, дежурили грейдеры, ремонтные бригады, стояли камнедробилки, чтоб в гололед посыпать дорогу щебнем.

Возле станций селились люди, и постепенно станции превращались в поселки. Иногда крупные, жителей по триста-пятьсот.

Со временем автомобили становились совершеннее, дорогу выравнивали, покрывали асфальтом, и нужда в таком количестве станций стала пропадать. Закрывали их, и уходили люди. На новых картах возле кружочков с названиями появлялась в скобочках пометка «(нежил.)». И вот теперь осталась одна жилая – поселок Арадан.

Расположен он почти посреди тракта: до одного города – без малого двести километров тайги и перевалов, и до другого – двести с лишним километров перевалов, тайги и холмистой степи.

Вытянулся Арадан вдоль трассы в высокогорном ущелье. Долгих восходов и закатов здесь не бывает: утром солнце быстро выкатывается из-за одной вершины, а вечером так же быстро закатывается за другую. Склоны гор покрыты хилыми, кривыми лиственницами. Сейчас, в середине сентября, они еще зеленоватые, веселые, но скоро станут рыжими, а потом, когда выпадет снег, будут пепельно-серыми, словно опаленными. Тоскливо тогда на них смотреть, будет казаться, что весь мир такой – умерший. А оживет ли весной – неизвестно…

Ирина Антоновна, учительница русского языка и литературы, медленно шла к школе по единственной улице Арадана. Это был тот же тракт, благодаря которому и возник поселок, но здесь, на этих двух километрах, он именовался – улица Шоссейная. Не будешь же на почтовом конверте писать: такой-то край, такой-то район, поселок Арадан, Федеральная автодорога М54, дом такой-то…

Сейчас, в девятом часу утра, на тракте пусто. Машины пойдут ближе к обеду – одни с юга, другие с севера. Из одного города в другой… Ребятишки после уроков встанут на обочине, наблюдая за пролетающими мимо их поселка грузовиками, легковушками, называя марки автомобилей, иногда, увидев незнакомую, споря, что это – «Тойота» какая-нибудь новая или «Ниссан»… Так же стояли пацанята и полвека назад, и тридцать лет назад… Иногда замрет старшеклассница, провожая быструю красивую машину, и в ее глазах будет такая тоска, что лучше не видеть…

Большинство, окончив школу, уезжают из поселка, находят свое место там, за перевалами, в большом мире. На родине появляются редко. Случается, забирают родителей отсюда, и дом пустеет.

Да, население Арадана постепенно уменьшается. И через несколько десятилетий он наверняка исчезнет. Люди держатся вокруг асфальтового заводика, который пока необхо-

дим для подновления тракта. Но изменятся технологии, заводик в конце концов закроется, и народ разъедется…

«Что ж, пусть, но хоть не при мне», – думает с каким-то облегчением Ирина Антоновна.

Она любит этот поселок, этих людей, эти горы, воздух – чистый, таежный, но временами с легкой, приятной даже, примесью горячего асфальта. А когда ветер тянет с реки – кажется, задохнешься обилием кислорода, легким становится тесно, хочется вдыхать и вдыхать… Река рядом, на задах поселка. Широкий, но бешеный, в пене, рвущийся по камням вперед Ус. Вечно над ним водяная дымка; даже в самые лютые морозы лед не может сковать его полностью, вода то и дело пробивает полыньи, вырывается на поверхность, создавая ледяные горы, напоминающие башни замка… Несмотря на запреты, пацанята тоже, поколение за поколением, убегают туда играть в войнушку, в рыцарей…

Заморозки уже били, но до настоящей зимы еще с месяц. Сейчас тепло, в тайге брусника, грибы, на болотах клюква, в логах облепиха, на курумниках кызырган – вкуснейшая ягода, которую больше людей любят змеи: висят на кустах и сосут мякоть, и часто бывает – с одного края куст обирает человек, а на другом хозяйничает гадюка… До позапрошлого года Ирина Антоновна ходила за кызырганом, но теперь не может. В шестьдесят восемь лет тяжело по камням скакать. Спасибо, ученики дарят баночку-другую…

Для школы в семидесятые годы, когда в Арадане жило под тысячу человек, выстроили двухэтажное здание. Но отапливать его оказалось дорого, – дровами не натопишь, а уголь привозной, – да и классы стали маленькие, человек по пять-семь, и в начале девяностых школу перевели в одноэтажный, длинный бревенчатый дом. Там уютней, теплей. А двухэтажка стоит до сих пор, правда, обобранная до предела – остался один кирпичный скелет. Применению ей, слишком роскошной, не нашли. Всё у них тут упрощается, скукоживается. Тоже, как повсюду, – оптимизация.

Ирина Антоновна прошла мимо закусочной «Перевал», навесов простенького рыночка. Под навесами никого; ближе к обеду займут здесь места торгующие целебными травами, грибами и ягодами, медом; если кто спросит, и запрещенные панты продадут, хариуса… «Перевал» же открыт круглосуточно: и ночью может подъехать проголодавшийся, а каждая копейка девочкам из «Перевала» важна. Закрыть грозится закусочную владелец, живущий далеко отсюда, в городе Абакане. Убыточно держать ее, на налоги больше тратится, чем выручки получает.

А готовят девочки вкусно. Пельмени настоящие, котлеты, иногда из лосятины, борщ, плов. А бигус какой!.. Ирина Антоновна иногда покупает у них что-нибудь на ужин. И чтоб поддержать сотенкой рублей, и чтоб самой не готовить. Одной-то что?..

Давно одна Ирина Антоновна, очень давно… Сорок девять лет назад они приехали сюда с мужем. Выпускники педагогического училища. По распределению, но с удовольствием. Особенно муж радовался – он любил волю, туризм, костер, по рекам на байдарке сплавлялся. Носил такую узкую бородку, по моде шестидесятых, не выпускал из рук томик рассказов Глеба Горышина, где герои бросали города и укрывались в природе… Ирина Антоновна была тогда беременной на первых месяцах, могла бы при желании настоять не на таком глухом месте, но решилась ехать, и как-то по-настоящему решилась, как оказалось – навсегда…

Хватило мужа на несколько лет. Сначала молча тосковал, сидел часами на берегу с удочкой, а потом и просто так. Курил и курил. Стал заводить разговоры о том, что жизнь идет, уже к тридцати возраст, надо расти. «Гошке, – кивал на сына, – через пару лет в школу. Чему он тут научится?.. Нет, – спохватывался, – коллектив хороший у нас, но ведь это все равно – тайга».

И чем настоятельней он давал понять, что надо переезжать, тем тверже Ирина Антоновна хотела остаться. Непонятно даже, из-за чего хотела. Придумывала: из-за природы, из-

за учеников, которых, уехав, как бы предаст… Но именно придумывала – головой. А сердце просто знало: нельзя уезжать.

Разрыв с мужем происходил долго и тяжело. Уволившись, вернувшись на их общую родину, на Урал, он несколько раз возвращался, уговаривал, требовал задуматься о будущем сына… В конце концов официально развелись, и он исчез. А потом исчез и подросший Георгий. Окончил восемь классов, поступил в райцентре в училище, но после неполного года учебы (побывал дома раза три за это время) бросил, написал, что едет на какую-то стройку, – на какую, не уточнил, – и больше ни слуху ни духу.

Много лет искала его Ирина Антоновна, писала в разные инстанции. Наслушалась и от мужа упреков, и от своих родителей, и от мужниных. А потом словно отрезало ту прежнюю жизнь, прежних людей. Остался этот поселок со школой, «Перевалом», двумя сотнями людей… Даже когда болела, в район не ехала, лечилась сама, или фельдшер уколы ставила. Не хотелось видеть другого; телевизор или радио включала раз, два в неделю. Знала, ничего там хорошего не увидит. В свободное время читала любимые книги, и, как в детстве, словно утопала в этом книжном мире, на много часов забывалась.

Очнувшись, вынырнув, часто ругала себя за слабость, за неправильно прожитую жизнь, за то, что сына упустила… А потом начинала вспоминать, и видела, что было много хорошего, было там счастье, особенно в первые годы, да и позже, даже после Георгия. Такое вот утро, тихое, осеннее… Это ведь счастье по такому утру неспешно идти в школу, чтобы учить детей, открывать для них новое. И большинство местных, тех, кто остался, чувствуют себя счастливыми. Нет у них здесь таких пьяниц, бичар, каких полно в городах и в деревнях вокруг городов, нет нищих, жалких… Как-то надежно живут, хоть и небогато, зато со смыслом…

А сегодня в школе особенный день. Не совсем по программе будет рассказывать ребятам, не то, что рассказывала в середине сентября все эти годы.

Еще в августе, перед началом учебного года, директор, Ольга Борисовна, сообщила ей:

– Нужно провести уроки о Крыме, о русских писателях, писавших о Крыме. Вы понимаете… О Пушкине, Лермонтове…

– Лермонтов, по-моему, там не был.

– Да? – Ольга Борисовна на мгновение вспыхнула. – Ну, других там… Там же многие бывали… Чехов?

– Чехов, Цветаева, – кивнула Ирина Антоновна, – Бунин.

– Отлично… Не впрямую желательно, а так… показать, что это часть России, источник вдохновения русских писателей. Понимаете?

– Конечно-конечно! – Ирина Антоновна уже выстраивала в голове урок для пятиклассников, шестиклассников…

– Только попросили: «Остров Крым» не надо упоминать. Вы не читали?

– Нет.

– Ну и хорошо…

И вот сегодня у Ирины Антоновны два урока литературы. Сначала восьмой класс, потом пятый. Для восьмого – отрывки из «Бахчисарайского фонтана», лирика Цветаевой и, конечно, «Севастопольские рассказы» Толстого. Но сначала – вступление о значении Крыма в русской литературе…

* * *

Вошла в класс, привычно обвела глазами стены с портретами классиков, парты со стоящими на них стульями… Сняла плащ, повесила на крючок у двери, достала из сумки тетрадь с конспектами уроков, книги с закладками в нужных местах. Открыла одну. Закладкой

было отмечено стихотворение Евдокии Ростопчиной о героях Севастополя во время Крымской войны. Ирина Антоновна поневоле зачиталась:

Ура, защитники России!..
Добро пожаловать в Москву!
У ней вы гости дорогие,
Про ваши подвиги святые
Давно уж чтит она молву.
Герои верности и веры, –
Вы, наши чудо-молодцы,
Затмили удалью без меры
Всех древних доблестей примеры,
Все бранной славы образцы.
Что Данциг, Сарагоса, Троя
Пред Севастополем родным?
Нет битв страшней, нет жарче боя…
Дыша в огне, вы гибли стоя
Под славным знаменем своим!..

Да, нужно поменьше говорить от себя, а больше цитировать. Никакие свои слова не сравнятся с художественным словом. А ведь это чудо… По крайней мере – на слух:

Двенадцать раз луна менялась,
Луна всходила в небесах, –
А все осада продолжалась,
И поле смерти расширялось
В облитых кровию стенах.
Четыре смены вражьей силы,
Четыре войска там легло, –
И безполезныя могилы
В волнах морских, в степи унылой,
В борьбе безвыходной нашло…

Стали входить ученики, здоровались. Аня Маркова, Денис Мельников, Настя Попова… Их было пять человек в восьмом классе. В младших есть и по двенадцать – больше стали рожать в последний десяток лет. То ли деньги по материнскому капиталу побуждают, то ли какое-то самоосознание включилось, что можем вымереть, если так будет продолжаться, как в девяностые…

Вот бы еще одиннадцатилетку восстановить, тогда поселок стал бы по-настоящему полноценным. А так – доучатся до девятого, а потом что? Единицы устраиваются в райцентре или дальше, получают полное среднее, большинство же идет или в ПТУ (теперь они благозвучнее называются – колледжами), или болтается так, недоучками. Из уехавших возвращаются единицы, почти нечем здесь им заняться, негде приложить силы, зарабатывать… А что бы не жить…

Задребезжал алюминиевый звонок в коридоре. Ирина Антоновна встряхнулась, освобождаясь от ненужных сейчас мыслей, и поднялась. И ученики тут же вскочили. Ирина Антоновна оглядела их, сказала громко и приветливо:

– Здравствуйте, ребята! Садитесь. Начнем урок. – Выждала, когда они усядутся, объявила: – Сегодня у нас урок необычный. Отклонимся на время от учебника.

– Блин, а я всю «Повесть о разорении Рязани Батыем» прочитал, – пробурчал с досадой Дима Губин. – Зря, что ли…

– Ну, за два дня не забудешь, а в четверг с тебя и начнем разговор о «Повести…». Я твое желание запомню, Дима, даже пометку в журнале сделаю.

Губин втянул голову в плечи, остальные ученики коротко посмеялись.

– Так, а сейчас поговорим о том влиянии, которое оказал Крым, Крымская земля на творчество русских писателей. Многих поколений русских писателей, начиная с Пушкина и до нашего времени… О Крыме писали такие выдающие, великие писатели и поэты, как Лев Толстой и Чехов, Бунин и Цветаева, Александр Грин и Горький, Максимилиан Волошин и Юлия Друнина, замечательная поэтесса военного поколения…

Ирина Антоновна сделала паузу… Нужно было объяснить, почему она решила поговорить на эту тему.

– Вы, конечно, знаете, что Крым вновь стал частью России. Когда-то, шестьдесят лет назад, он был включен в состав Украины, и в то время этому не придали значения: тогда и Россия и Украина были частью одного государства – Советского Союза. Но потом произошел распад, и Крым стал заграницей. Но эта земля, этот полуостров с восемнадцатого века был частью именно России… – «Нет, надо про более раннее сказать». – Вообще Русь и Крым были связаны с древнейших времен. Из уроков истории вы, наверное, знаете, но я напомню. В Крыму жил просветитель Кирилл, один из создателей кириллицы, прообраза нашего алфавита, здесь принял крещение князь Владимир. Часть Крыма входила в состав Тмутараканского княжества – самого южного русского княжества… На полуострове останавливался по пути из Индии тверской путешественник Афанасий Никитин… Крым стремились присоединить к России Иван Грозный, царевна Софья, Петр Первый. И это удалось только Екатерине Великой…

Снова пауза. Теперь – о том, что влекло писателей, поэтов в Крым.

– Природа Крыма поразительно красива, здесь находятся уникальные творения архитектуры, здесь удивительно целебный климат. Полуостров омывает теплое и чистое Черное море. Во многом благодаря этому сюда приезжали многие русские литераторы, которые воспевали его в своих прекрасных произведениях, а Лев Николаевич Толстой, например, описал в «Севастопольских рассказах» героизм защитников Севастополя во время Крымской войны. И сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми из этих произведений.

– А вы-то сами там были? – спросил Денис Мельников; нехорошо спросил, как-то с вызовом.

Ирина Антоновна на мгновение оторопела. Потом кашлянула, сказала:

– Нет, Денис, не бывала. Но в этом ли дело?

– Ну а как… Может, его вообще нет на самом деле.

Ксюша Кандаурова, девочка обычно тихая, старающаяся быть незаметной, хихикнула.

– Интересная логика… – Ирина Антоновна прошлась перед доской, искала сильный ответ. – По-твоему, на уроке географии нельзя рассказывать, скажем, об Африке, не побывав в Африке? А биологию не стоит преподавать, не увидев всех зверей, все растения? Да, Денис?

Денис молчал, смотрел на обложку учебника литературы.

– Чтобы поговорить о Крыме, достаточно знать, что он вдохновил писателей, художников на прекраснейшие произведения искусства. Он стал неотъемлемой частью русской культуры. Там чтут память Пушкина, Паустовского, Максимилиана Волошина, Александра Грина. Не так давно, я читала, в Феодосии открыли музей Марины Цветаевой… Кстати, а кто-то читал «Алые паруса» Грина?

Тишина. Лишь Настя Попова через какое-то время несмело сказала:

– Я фильм видела.

– Фильм замечательный. Но с книгой даже он не сравнится. Обязательно прочитайте, ребята. У нас в школьной библиотеке она есть. Можете и у меня взять на время… Итак, поговорим о Крыме в произведениях наших писателей.

– Ирина Антоновна, – не унимался Мельников, – а зачем нам это все-таки? Давайте по программе. Димка вон подготовился.

Ирина Антоновна редко сталкивалась с подобным. Обычно ученики вели себя тихо, с дисциплиной в их маленькой школе проблем почти не возникало. И Ирина Антоновна стала сердиться.

– А почему, Денис, – сделала голос сухим и строгим, – почему ты так против разговора о Крыме?

– А зачем? Что нам это даст вообще?.. Мы тут и скиснем, в этой дыре.

– Что? – Ирина Антоновна опешила. – Почему это скиснете? Как так можно говорить, Денис! Учитесь хорошо, и перед вами будут открыты все двери… И наш Арадан – это не дыра, кстати сказать. Знаете, что это слово означает?

Ребята мотнули головами.

– А означает оно – великий, могучий, большой. «Арадан» очень распространено в тюркоязычном мире. В Иране, например, есть селение Арадан. Там родился предыдущий президент этой страны – не очень хороший человек, но тем не менее… И еще, писатель Толкиен в своей саге упоминает «Арадан». – Об этом несколько лет назад ей сказала одна из учениц, и Ирина Антоновна запомнила. – Поэтому никакая мы не дыра, а наоборот… – Она улыбнулась и постаралась придать своему голосу шутливость: нужно было снять напряженность. – Мы живем на высоте почти двух тысяч метров над уровнем моря! Мы жители уникального населенного пункта в крае… Так, а сейчас вернемся к нашей теме, и начнем мы с Александра Сергеевича Пушкина. Он побывал в Крыму двадцатилетним молодым человеком во время Южной ссылки. Крыму, или, как его называли раньше, Тавриде, Пушкин посвятил немало лирических стихотворений, поэму «Бахчисарайский фонтан». Именно там Александр Сергеевич задумал роман в стихах «Евгений Онегин». В конце жизни он вспоминал: «Там колыбель моего Онегина…»

Урок удался. Ребята, поначалу напряженные после выходок Дениса Мельникова, расслабились, их глаза заблестели в ответ на читаемые Ириной Антоновной стихотворения. И даже Денис растерял свой скепсис, его душа сдалась…

Потом было два урока русского языка в шестом и седьмом классах, потом – литература в пятом. С пятиклассниками было легко – очень доверчивые, жадно впитывающие всё хорошее, светлое, прекрасное… Плохо, что и грязи в них вливается достаточно, особенно через телевизор…

По пути домой Ирина Антоновна заглянула в закусочную, купила две порции бигуса. Поужинает… Девочки-поварихи были невеселые: опять почти никто не останавливался, а наготовлено всего много. Придется самим есть, и не забесплатно, конечно. Покупать свое же…

Только вышла из «Перевала», столкнулась с Олесей, диспетчером с заправки. Давней ученицей.

– Здравствуйте, Ирина Антоновна, – сказала Олеся торопливо. – Как ваше здоровье?

– Да так, Олесенька, ноги ломит. – Ноги действительно побаливали под коленями. – Наверно, к непогоде.

– Обещают снег… А вы знаете, что сегодня у меня приключилось?.. Сижу, подъезжает «жигулёнок». Суется человек в окошечко: «У меня бумажных нет при себе, возьмите вот это. Срочно заправиться надо». И показывает монету, два рубля, в таком… в целлофан заклеена. «Это, – говорит, – редкая монета, две тысячи третьего года. Она десять тысяч стоит. Срочно надо заправиться, а денег нет». Представляете? И так напористо, что пришлось участко-

вым пугать. «Сейчас участкового вызову, – говорю, – пускай разбирается с вашей монетой». Ну, этот заматерился и уехал.

Где-то когда-то Ирина Антоновна слышала, что некоторые обычные вроде монеты стоят гораздо больше. Отчеканенные малым тиражом, с браком… Но говорить об этом Олесе не стала – не надо ей засорять голову лишней информацией. Начнет еще каждую монету изучать, искать ценную… Да и сил для объяснений не было. Устала. Согласно покачала головой:

– Да-а, мошенников нынче полно. Будь внимательней, Олеся.

– Спасибо! Я побегу…

* * *

Ирина Антоновна давно приучила себя не думать о постороннем на работе. И потому тот вопрос Дениса – бывала она в Крыму или нет, на несколько часов забылся. А теперь вернулся и заставил размышлять… Конечно, она правильно ему ответила, что учителю географии не обязательно побывать в Африке, а учителю биологии – увидеть своими глазами строение всех животных, чтобы о них рассказывать. Но все-таки… Все-таки…

А что бы и не съездить в Крым? До краевого центра пятьсот километров с небольшим. А там наверняка есть прямой рейс… На неделю… Увидеть дом-музей Чехова, домик Грина, Паустовского, Ласточкино гнездо, картины Айвазовского… Вдохнуть тот воздух.

Надо с директором, с Ольгой Борисовной, поговорить. Может, узнает насчет путевки. Как старейшему учителю… и сколько лет в профсоюзе состояла… А нет, так у нее есть сбережения. На поездку может себе позволить потратиться. Не сто же тысяч неделя в Крыму стоит… Тем более, если не в сезон поехать. Взять и на осенние каникулы…

Хорошо бы с ребятами поехать на следующее лето. Пусть увидят, какая страна большая и разная… Было время, она возила учеников в бывший уездный город, а нынче один из ближайших райцентров. Старинный по здешним меркам город, с двухсотлетней историей. Там театр, большой краеведческий музей, музей декабристов, единственная уцелевшая в округе церковь… Ходили на дневные спектакли для детей, на экскурсии в музеи, заходили в церковь, в библиотеку, находящуюся напротив церкви в старинном здании. И Ирина Антоновна замечала, как это всё облагораживает ребят… В городе почти все они бывали довольно часто, но как – по магазинам, в поликлинику, в парк на каруселях покататься. А здесь видели город другим… На обратном пути в автобусе было тихо-тихо, и прямо ощущалась происходящая в каждом из маленьких людей духовная работа…

Давно уже эти поездки прекратились – автобус стало заказывать тяжелее и дороже, да и со здоровьем у Ирины Антоновны было уже неважно… Целый день на ногах не выдержать…

Пришла домой. Прохладно. Включила обогреватель. Посидела в кресле, глядя на закрывавшие две стены в большой комнате стеллажи с книгами. В спальне тоже стеллаж. Это еще муж сделал из струганых досок, намертво приколотил здоровенными гвоздями к бревнам сруба под штукатуркой… В первое время на стеллажах вместо книг лежало белье, стояли вазочки, банки с нитками, пуговицами, утюг, еще разные нужные в быту вещи. А теперь – сплошь книги. Плотно, одна к другой. Из каждой поездки в райцентровское село, в город Ирина Антоновна привозила одну, две, пять книг.

Она завещала свою библиотеку школе, и директор растрогалась до слез, долго благодарила. Но где их там разместят? Места не так уж много. Хочется помечтать о том, что после ее смерти эти полдома – две комнаты и кухню – превратят в библиотеку, но не стоит. Не стоит…

Ноги под коленями ломило так, что хотелось тереть их, чесать… Поднялась медленно, добралась до кухни, включила электрочайник, достала из шкафа пакет с морской солью.

Высыпая ее, рыжеватую, в таз, прочитала не замеченную раньше надпись на упаковке: «Изготовлено из солей Верхнекамского месторождения».

«Какое там море?» – удивилась Ирина Антоновна; ответ нашла тут же, на упаковке: «Живая сила природных кристаллов Древнего моря».

Ну да, могло быть там, в верховьях Камы, древнее море. В древности, как доказывают ученые, большая часть суши была покрыта водой…

Налила в таз нагревшейся воды из чайника, размешала соль ложкой. На дне осталось несколько крошечных камешков. Их приятно чувствовать подошвами… Отнесла таз в комнату, поставила перед креслом.

Сняла носки, теплые колготки, уселась, медленно опустила ноги в горячую воду. Выдохнула со стоном… Нет, хорошо. Морская соль всегда помогает, разгоняет кровь, успокаивает суставы…

Что ж, вполне можно попробовать… Тем более сейчас, когда про Крым много говорят, даже чуть не насильно посылают туда людей отдыхать… Свозить ребят, Дениса Мельникова, чтоб убедился… Каких действительно граждан страны можно воспитать, если они видят только этот клочок земли. Прекрасный, но все равно – клочок. И телевизор не поможет: по сути, они не воспринимают происходящее на экране как реальную жизнь. Им что мультик, что документальный фильм…

И на первый взгляд механически, а на самом деле, чтоб утвердиться в этой своей мысли, Ирина Антоновна взяла с этажерки пульт, включила громоздкий, но еще нестарый (лет десять ему) «Daewoo».

Экран еще был черный, а звук уже пошел. Быстрый, звонкий голос молодой журналистки:

– Необычная акция прошла сегодня в одной из московских гимназий. Ученики провели благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги для лечения своего товарища… – Журналистка шла по школьному коридору, спиной вперед, глядя в камеру. – Девятиклассник Саша Куликовских сейчас почти полностью парализован. Всё началось весной с обыкновенной мальчишеской травмы, но после операции началось заражение крови. Сепсис привел к поражению мозга и гибели большого количества клеток. Но клетки мозга имеют способность восстанавливаться, поэтому надежда есть. Для лечения в Германии, а именно там готовы Саше помочь, нужно одиннадцать миллионов рублей. Родителям Саши удалось собрать один миллион с небольшим. Благотворительные фонды в помощи отказали – дело в том, что на лечение за рубежом они выделять деньги не имеют права.

Журналистка вошла в актовый зал, заставленный столами. На столах пирожки, яблоки, стеклянные банки с вареньем, чем-то еще; корзинки, поделки. За столами – дети, зазывающие:

– Покупайте, покупайте! Саше нужна помощь!

– К поиску денег подключились учащиеся школы, – снова заговорила журналистка. – Они организовали благотворительную ярмарку. Кто-то принес выращенные на дачах фрукты и овощи, кто-то – глиняные фигурки, сделанные своими руками. Милена Гурова со своей мамой-дизайнером изготовили вот такие симпатичные закладки для книг. – Журналистка взяла в руки пестрые полоски бумаги. – Одна закладка стоит сто рублей. Не так уж много, когда речь идет о спасении жизни. – Она не глядя вынула из кармана сторублевую бумажку, положила на стол, пошла дальше. – Второго октября здесь же, в гимназии, состоится благотворительный концерт и еще одна ярмарка. Помочь Саше можно и в социальных сетях. Достаточно набрать в поисковике: «Спасите Сашу Куликовских».

Ирина Антоновна нажала красную кнопку на пульте. Экран погас, звук исчез. Море, дома-музеи, Ласточкино гнездо снова оказались далекими, почти не существующими… Вода в тазу остыла, ногам стало зябко.

Вадим Левенталь

Император в изгнании

Лето выдалось жарким, было душно, но он не покидал полутемных комнат, его душили ярость и стыд. Прятал изуродованное лицо от служанки, которая приносила еду. Не говорил. Иногда забывался, пытался что-то сказать, слышал собственную позорную шепелявость и со злостью толкал глупую старуху. К тому же нос еще болел.

Ему нужно было заново учиться говорить, дотягиваясь обрезанным языком до десен, и заново учиться смотреть на людей, пока они разглядывают обрубок носа и делают вид, будто не делают этого. Он пил, ел, ходил из одной комнаты в другую, читал, вероятно, мастурбировал, плакал.

О чем он думал? О затмении. Пятого сентября прошлого года солнце почернело, и его город упал в полутьму. Народ набивался в храмы, он и сам молился, но – на террасе дворца, не отводя глаз от страшного знамения. Он думал о том, что Господь предупредил его, подал ему знак, а он не смог разгадать знака. Кроме того, перед его глазами бесконечно крутилось кино, в котором его выволакивали из дворца и с улюлюканьем тащили вниз, на ипподром. Когда в кадре появлялись щипцы, воспоминание становилось невыносимым, и он старался прогнать его криком, бил в стену кулаками и головой. Почему он не покончил с собой? Эта мысль не могла не приходить ему в голову, его должна была манить любая веревка или высокая скала над морем. Впрочем, веревки, возможно, от него прятали, а чтобы добраться до скалы и моря, нужно было выйти на улицу. Когда его, уже здесь, вели по городу, прохожие останавливались, разглядывали его, перешептывались, а дети бежали вслед и тянули в его сторону пальцы. И это еще не все знали. Объяви, кого поведут, заранее – и глазеть на него высыпал бы весь город.

От самоубийства его могло удерживать пророчество. А может быть, дело в том, что еще более сладкой, чем мысль о смерти, была для него мысль о мести. Он хотел отомстить всем – не только Леонтию, но и всем остальным, вплоть до самого последнего местного мальчишки, показывавшего на него пальцем. Он еще утопит этот город в крови. (Действительно, утопит, хотя мальчишки к тому времени вырастут.)

Я все время думал о Юстиниане, хотя нельзя сказать, чтобы Нина мне им все уши прожужжала, нет. Мне приходилось спрашивать, чтобы она рассказывала, и я спрашивал – хотя бы для того, чтобы посмотреть, как двигаются ее губы, – а она рассказывала с таким видом, будто просит прощения за свою невежливость. Что ей это нравится – она бы не призналась никогда в жизни: нельзя быть умнее собеседника, даже если собеседник лежит рядом голый и гладит твою сиську, – подобными вещами она была набита под завязку.

Пару раз я слышал, как ее друзья говорят со смешком *она же у нас без пяти минут кандидат наук*. И, хотя Нина была умнее своих друзей, всех, вместе взятых, и, вероятно, знала это – не могла не знать, – она протестующе поднимала руки и говорила, что думает бросить писать *эту ерундистику* (так она называла свою диссертацию). Не ерундой были клубы, наркотики, шмотки, отношения, *вот это вот все* – и иногда у меня складывалось ощущение, будто только я знаю: каждое утро после ночных разъездов по клубам и бесконечных разговоров о том, кто гей, а кто нет, Нина садится в свою «Тойоту» и катит в Публичку, чтобы несколько часов просидеть там с источниками – в основном с греческими и арабскими. И, однако же, если бы она услышала, как я все это говорю, она убила бы меня.

Нет, Нина не была Штирлицем в стране дураков, засланным казачком на безумном чаепитии, – она искренне была своей в своем кругу, хотя как раз в эту искренность поверить

было сложнее всего. Нужно было, чтобы она кричала, выкидывая мои вещи на лестницу, *найди себе в растянутом свитере с немытыми волосами, это то, что тебе нужно*.

Думать о Юстиниане было способом не думать о ней, или, точнее, думать о ней другим способом – конечно, я понимал это и, наверное, с тем большим сладострастием думал. Мы попали в город с разных сторон (да и город-то сейчас был левее для меня и был бы правее для него) – меня встретил в аэропорту в Симферополе стесняющийся дядечка, посадил в машину и полтора часа вез до гостиницы, изо всех сил выдумывая светские темы для разговора, а его, даже если не связанного, то все равно под конвоем вели со стороны моря – но где-то на параллельных линиях (я сейчас ходил бы ему по голове) наши пути наверняка хоть раз да пересеклись. Где-то в одном из этих домов он жил – и рано или поздно вышел на улицу, причем его скривило от убожества этого городка, после Константинополя-то. Узкие, как коридоры, улицы, запах рыбы, тесные храмы, бедно одетые люди.

Он стал выходить по вечерам, в сумерках. Отворачивался от прохожих, прятал лицо. Выходил за стену к берегу и сидел, смотрел на море. Солнце, от которого он днем прятался по перистилю, садилось в море далеко за его городом, освещало там триклиний и террасы дворца, а здесь – правую половину его изуродованного лица, все окрашивая в прозрачный гранатовый цвет. Мало-помалу он стал привыкать смотреть на себя в зеркало и слышать звуки собственной речи. Наконец, он стал выходить и днем – тем более что уже все в городе знали, кто он, и сами опускали глаза. Те, кто пялился, встречали его взгляд и не выдерживали его – было страшно.

В этом городе он рождался заново, нащупывая внутри себя саму возможность быть дальше, и возможность такая была только одна – переродиться в новое существо. Оно-то и царапало его изнутри деревенеющими когтями, толкало новым изогнутым скелетом, цокало хитиновыми конечностями. И хотя все еще среди монет, которыми он расплачивался с проститутками, попадались деканумии с его изображением, сам он все меньше был похож на себя прежнего. Пропасть в десять лет, разверзшаяся между его изгнанием сюда и его побегом отсюда, хранит две непостижимые тайны: с одной стороны, почему это было так долго, а с другой – что дало ему силы так долго прождать.

Если только возможно перпендикулярно течению времени, лишь по смежности пространства, чувствовать эмпатию к человеку, который родился, жил и умер за полторы тысячи лет до настоящего времени, то я чувствовал такую эмпатию – хотя, конечно, не мог быть уверен ни в том, что Нина ничего не сочинила, рассказывая мне о нем, ни в том, что к ее словам, сказанным по большей части в полусне, не досочинил от себя ничего я сам. Я тоже чувствовал себя изгнанником, пусть у меня и был билет на самолет через два дня, из столицы на край ойкумены, хоть моя столица была столицей другой, северной империи, разве что – и хотя бы тут наши с ним позиции (если только, опять же, у времени бывает неевклидова геометрия) совпадали – обе наши империи исчезли с лица земли.

Дело не в формальном нарративном сходстве (нужно же сказать это вслух, чтобы исключить риск ошибочной диагностики: нет, я не отождествлял и не отождествляю себя с византийским императором Юстинианом II Безносым). Но я действительно думаю, что в пространстве есть, по всей видимости, дыры, и если в них и нельзя, как в кроличью нору, с уханьем, провалиться, то, по крайней мере, при некоторой доле везучести, можно приложиться к ним ухом и услышать стук колес совсем других поездов.

Конечно, в моем случае все было иначе – я и оказался-то на улице, не в последнюю очередь, потому что в кармане у меня лежали билеты в Крым и мне казалось, что Нина не устоит, не сможет отказаться от такого шанса – ни с того ни с сего, не в сезон махнуть в Севастополь. И что, как любая женщина, она найдет самый невинный, самый незначительный повод помириться – в худшем случае завтра, а в лучшем – прямо сейчас (я еще выкурил несколько сигарет под окнами). Ночь оказалась неожиданно холодная, идти нужно было

от Таврического (sic) в Коломну (на такси у меня, как назло, не было), а пакет был очень неудобный, хоть и не тяжелый – много ли вещей накопится за два месяца совместной жизни? Я все не мог поверить, что она запросто легла спать и, выключив свет, не стоит, подглядывая из-за занавески, кусая губу, – насколько же мужчины могут быть глупыми…

Я не стал звонить ей на следующий день – почему-то думал, что она позвонит сама, и кроме того, мучился похмельем, не из ряда вон выходящим, но все-таки забавно, что именно такие вещи направляют течение нашей жизни. На другой день позвонил, телефон был выключен (в библиотеке), и, опять же, думал, что, увидев пропущенный, перезвонит, потом целый день провел в беготне, и было ни до чего, а на четвертый день звонить было уже странно. Возможно, она тоже так думала, но мне казалось, что если она за четыре дня не предприняла ни единой попытки поговорить, то, вероятно, такая попытка с моей стороны будет напрасной и обидной. Не то чтобы я не пережил, если бы Нина меня обидела, но с возрастом, вопреки заблуждению, такие раны зарастают все дольше, хотя, быть может, и ощущаются не так остро.

Через две недели я сел в самолет и улетел в Симферополь. Меня довезли до гостиницы и оставили в покое – был ранний вечер. Я поел, дошел пешком до Херсонеса и обратно шел уже почти в темноте. Странно было видеть Крым зимним. Голые кроны, ржавые листья, застрявшие в сухой траве с прозеленью, кипарисы спящего оттенка, хмурое небо и рваный холодный ветер; только что не было снега.

На следующий день разъяснело. Я рано проснулся (было что-то вроде лекции в университете), позавтракал и оделся. За мной должны были приехать, но я позвонил и сказал, что вчера разведал дорогу, так что дойду сам. Листья из ржавых железок стали травленой медью, желтая штукатурка стен отсверкивала травертином, зелень в складках мостовых мерцала бронзовой патиной – зимой, в тишине и неспешности, без всей намывной дребедени, вдруг стало видно, что Севастополь – имперский город, черноморское отражение Петербурга, чем-то даже, хотя бы цветом неба и линией рельефа, ближе к римскому инварианту.

После «лекции» (беру это слово в кавычки, потому что на самом деле это была, конечно, «встреча» – вечная проблема жанра), так вот, после встречи ко мне подошла студентка и сказала:

– Здравствуйте, я Аня.

Аня была среднего роста тонкой брюнеткой, она тянулась от пола, как нервюра готического свода (я имею в виду напряжение и нежность изгиба и не упоминаю образцово выполненные мулюры лица); добродушная энергичная женщина, с которой я переписывался месяц и успел перебросится парой слов перед «лекцией», сказала мне *Аня вам покажет город, она со второго курса, толковая девчонка* – теперь, само собой, появилась иллюзия, будто она говорила это с каким-то особенным озорством, хотя наверняка нет. В действительности прошлое, в той мере, в которой оно вообще существует, всегда скорректировано своим будущим.

Тогда мне показалось, что Ане неловко от того, что мы, почти ровесники, говорим друг другу «вы», и к тому же наше положение – *столичный гость* и Ариадна по разнарядке – такое глупое и такое формальное. Сейчас я уверен в том, что неловко было мне, а Ане я лишь приписал собственную интерпретацию этого положения. Мы час или больше гуляли по городу, играя свои роли – мисс предупредительный экскурсовод и мистер заинтересованный болван, – пока мне не пришло в голову самому ей что-нибудь рассказать, и я стал рассказывать о том, что мне больше всего было интересно: о Юстиниане.

В своем роде это было, вероятно, предательство, но если и так, то вина моя смягчается тем, что рассказывал я историю, уже успевшую стать моей, – не только по тому формальному признаку, что я успел, кажется, много к ней присочинить, но и потому, что она (я имею в виду, история) включилась в мой собственный обмен веществ, если только возможно включить

в себя чужое событие и переварить его. Аня ничего о Ринотмете не знала (или делала вид, что не знала), так что я не рисковал быть пойманным за руку, а вместо этого сам поймал ее ладонь, пока мы спускались по Синопской лестнице. Потом отпустил, но минуты мне было достаточно – я почувствовал ее легкий пульс под суставом безымянного пальца и в этот момент успокоился и почувствовал себя уверенно, как будто дальше я могу не рассказывать, а просто плести все, что в голову взбредет.

Вечером, когда Аня села на автобус и уехала домой (мы прощались до завтра, и я не сомневался, что могу поцеловать ее, и мне, само собой, хотелось этого, но еще больше мне хотелось продлить колебание струны – не знаю, понятно ли я говорю), я вернулся на холм с бутылкой портвейна. Я следил за тем, как тени елей облизывают марши лестницы, глядел на море и в какой-то момент остро почувствовал, в чем его ужас – в том, что в море нет направления: ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Привычка думать о времени как о потоке воды сделала из моря устрашающую метафору времени вне человеческого измерения (в обоих смыслах) – времени, корпускулы которого перекатывались то ко мне, то от меня, и чем темнее становилось, тем явственнее я слышал их шуршание друг о друга.

Я искал объяснения десятилетней паузе в судьбе Юстиниана[1], но возможно, что никаких таких объяснений не только не нужно, а попросту нет. И что хронист, утрамбовывающий десятилетний срок в одно титло, делает так не от бессилия, а для точности, и эти десять лет не катились, не текли, не тянулись, а только шуршали друг о друга туда-сюда. (Туманность этой мысли я отношу на счет массандровского портвейна; прошу считать это продакт-плейсментом.)

Так, я с трудом мог бы сказать, чем мы занимались с Ниной. То есть мы занимались сексом (увы, русский язык не предназначен для подробностей, могу только сказать, что мы бывали похожи на катающихся по квартире горячих слюнявых осьминогов, пусть это и звучит не слишком аппетитно, секс вообще зря сравнивают с едой), сексом – само собой, но если вопрос в том, что за эти полтора месяца произошло, ответить на него трудно (хотя проще, чем рассказывать по-русски про секс). Мы два раза сходили в кино, гуляли, обедали в городе или готовили дома, но в целом, скорее, ездили по клубам с ее друзьями. Для меня это было что-то вроде погружения на дно бликующего моря с разноцветными кораллами, стремительными стаями рыб, ленивыми крабами, замершими в ожидании жертвы муренами и прочей дичью, населяющей ночную жизнь города. Не могу сказать, что я был единственным человеком с аквалангом в этих аквариумах, пускающим пузыри от восторга, – но, боюсь, именно так это и ощущалось. Я понял это позже, чем местная фауна почувствовала недоверие. Но хуже всего то, что я своим глупым видом подставил Нину, которая как раз в этом смысле вела себя абсолютно как земноводное существо.

Сначала меня приняли очень дружелюбно: дело было в стеклянном ресторане с видом на монферрановский купол, мне предупредительно передавали закуски и поощрительно слушали, когда я решился что-то сказать, – хотя я не уверен сейчас, считать ли все это проявлением тактичности, издевательского любопытства или чего-то еще. Я ведь даже не знаю, часто ли Нина знакомила свою компанию с новыми молодыми людьми, а это бы мно-

[1] О чем я мог думать? О женщине. Это могла быть нежная нимфа, которая привязала бы его к себе, к своему дому или даже к общим детям, а потом – умерла, изменила, наскучила. Главный герой, обращаясь к нежно любимой простолюдинке, поет исполненную страсти арию «Прости, но в путь зовет меня моя звезда». Один из мужей городского совета, негромкий и пытливый старик, начинает подозревать, что за серией загадочных смертей девственниц из аристократических семей, трупы которых все чаще находят в понтийских водах, стоит питающий надежды на возвращение трона изгнанник. Вступив в сговор с Князем Тьмы, старуха-ведьма исподволь отравляет христианскую душу героя сатанинской гордостью и инфернальной злобой и не отпускает его до тех пор, пока не уверяется, что вырастила из басилевса антихриста. Переосмыслив действительность, герой бросает вызов обществу, однако инерция исторического развития обращает его усилия в прах. Он прожил десять лет под каблуком взбалмошной, властной и истеричной стервы и наконец решается на отчаянную попытку сбежать от мегеры; чудом ему удается уйти от погони, но он никогда уже не будет прежним.

гое меняло. В первый раз я потерял бдительность, когда в третьем или четвертом баре за ночь мне вдруг показалось уместным помянуть Бахтина, и, хуже того, не придав значения взгляду, который бросила на меня Нина, я начал что-то объяснять про карнавал – *понимаешь*, это Нина говорила мне в тот же вечер, одновременно набирая письмо в лэп-топе, *это все равно, что ты бы стал рассказывать всем, какой у тебя член; ладно, не член – ноготь на ноге, на большом пальце*. Я обещал ей больше так не делать.

Одним словом, скоро стало понятно, что я работаю как генератор неловкостей. То я ругал группу, и выяснялось, что ее гитарист сидит напротив, то высказывал свое никому не важное мнение о последнем Триере, в другой раз я рассказал гомофобный анекдот, не зная, что с нами отдыхает гей-пара, и, наконец, как-то, устав пить коктейли, начал заказывать водку и нарезался до того, что стал петь советские песни – у меня нет слуха, я знаю, но хуже этого было то, что в Нининой компании петь такие песни не считалось смешным. Генератор работал сам собой, со все увеличивающейся мощностью – меня опознавали как чужака, я чувствовал это, злился и делал все больше глупостей. Так что скандал, который я закатил Нине по поводу ее идиотов#друзей – зачем они ей, такой умнице, нужны, и вообще как она может тратить время жизни и свой талант на весь этот говно-гламур, – был признанием моего поражения; ничего удивительного, что она тут же выставила меня за дверь и выкинула вслед вещи. (Разумеется, с ее стороны это не было обидой – просто нельзя было быть с ней рядом и проигрывать, можно было только сверкать.)

Одним словом, возвращаясь к Юстиниану, вовсе не обязательно, чтобы его побегу отсюда предшествовали какие-то события так, как звону колокола предшествует удар языка, – в конце концов, закипанию чайника предшествует только его кипение. Он все чаще вспоминал о пророчестве Кира, монаха, которого под стражей держали в Амастре, и все чаще напоминал об этом пророчестве другим. Ему становилось веселее, как путешественнику, который выходит к берегу моря, он чувствовал ток свежего ветра, готового нырнуть в паруса. Смелел, ходил по городу с охраной и, жутковато улыбаясь, обещал в скором времени каждому тут взрезать брюхо. Однажды, когда он дремал после обеда в тени, запыхавшийся доброжелатель с круглыми от важности сообщения глазами прошептал ему, что оставаться здесь больше нельзя: *там* (палец указал в сторону дворца стратига) уже решают, что лучше с ним сделать – убить или отправить к Тиверию (Леонтий к тому времени уже сам с отрезанным носом киснул в монастыре).

Как радостно и тревожно забилось у него сердце! Он уже не был двадцатишестилетним мальчиком, которого, упиравшегося ногами и руками, тащили на экзекуцию, и уж тем более – тем шестнадцатилетним, который, приняв отцовский трон, тут же принялся воевать с кем ни попадя. О, ему было уже почти сорок, и он знал, что удача, шлюха из шлюх, любит, когда к ней подходят вкрадчиво, а хватают молниеносно и наверняка! Он заставил себя успокоиться, минут пятнадцать полежал с закрытыми глазами, потом поднялся и велел начинать сборы. Смотреть на него было страшновато, и вместе с тем он выглядел величественно – это был не изгнанник, это был император, и он собирался домой.

Он взял с собой только пару слуг и ушел тем же вечером, подкупив стражу. Уже на следующий день он был в Мангуп-Кале и требовал у перепуганного наместника, чтобы его отправили к хагану, причем настаивал на почетном сопровождении. Видимо, что-то было в его облике такое, что наместнику даже в голову не пришло арестовать беглеца и попробовать разузнать, насколько сильно в Херсоне жалеют о его исчезновении. Вместо этого он поспешил избавиться от него, дал лошадей, охрану и, закрыв за страшным гостем дверь, не то перекрестился, не то возблагодарил Аллаха.

Юстиниан торопился, подгонял отряд, спал мало, но высыпался, как никогда прежде, нужно было скорее добраться до моря – вероятно, была погоня. Через неделю или две его принимал великий хаган Изувир Глиаван – на всякий случай с почестями. Путешествие еще

больше взбодрило беглеца, с хаганом он держался как равный с равным, просил дать армию, предлагал дружбу и союз, когда пророчество сбудется и трон империи снова будет принадлежать ему. Хаган слушал молча, с неопределенной улыбкой, кивал, обещал подумать насчет армии и, в конце концов, решил удержать Юстининана при себе, мало того – отдать ему в жены сестру Феодору. Она была не первой молодости и нельзя сказать, чтобы красотка, зато влюбилась в супруга по уши. В Фанагории провели медовый месяц – Феодоре хватило этого, чтобы зачать от Безносого. Тиверий тем временем слал к хагану гонца за гонцом, обещая золотые горы за изгнанника, хоть живого, хоть мертвого, и хаган, человек практичный, решил вопрос в пользу синицы в руках.

Он отправил в Фанагорию целый отряд: боюсь, мол, покушения на дорогого зятя, пусть охраняют – и, может быть, это был последний раз, когда Юстиниан кому-то в жизни поверил. Потому что всего через несколько дней Феодора прибежала к нему и, дрожа в его объятиях, что-то стала горячо в ухо шептать, сбивчиво, непонятно – пришлось долго успокаивать ее, прежде чем он добился толка: старый слуга сказал ей, что у начальника стражи высочайший приказ зарезать синичку по первому знаку.

На безносом лице отобразилась сложная смесь ненависти, тоски, страдания и радости зла. Успокоив жену, он тайком позвал старых слуг и сказал им под благовидным предлогом идти из дома, отправляться к морю и незаметно готовить лодку. Ночь он провел без сна – молился, уговаривал Феодору не убиваться, обещал ей, что не бросит, и себе – что хаган еще увидит, что за птичку хотел прихлопнуть.

Утром он позвал к себе Папаца, ханганского слугу, которого тот передал «в распоряжение», – теперь было понятно, зачем здесь этот человек. Он задал ему пару двусмысленных вопросов, увидел в глазах то, что и ожидал увидеть, потом, как бы невзначай, зашел за спину, в одно мгновение накинул на шею тонкую веревку и, держа трепыхающееся тело, шипел в ухо: *как брата? как брата?* Оттащив тело в угол и накрыв его ковром, с непринужденным видом вышел и велел послать за начальником стражи по делу величайшей важности. Этого придушил быстро и без разговоров – все же человек военный, шутки плохи.

Он успел полюбить Феодору или, по крайней мере, привязаться к ней, но взять ее с собой он не мог, как бы она ни просила. Он отправил ее обратно в Самандар, к хагану, сел в лодку и поплыл на запад – почти в том же положении, в котором пару месяцев назад здесь оказался: без армии, без жены, с одним только пророчеством в качестве залога будущего, снова преданный всеми, кроме нескольких старых слуг. Отряд причалил у Балаклавы. Им удалось отправить в Херсон до неузнаваемости переодетого слугу. На следующий день все те немногие из челяди, кто оставался в доме, под разными предлогами вышли из города и погрузились в лодку.

С ним было человек десять, может быть, пятнадцать, не больше, – с этими-то силами он шел возвращать себе империю. И, когда на полпути к берегу Болгарии их застигла сильная буря и все – и старики, и воины, и мальчишки – встали на колени молиться о спасении душ, такие накатывали волны, лодку швыряло и крутило, не перевернуло лишь чудом, нужно было изо всех сил держаться за снасти, чтобы не выпасть за борт, и старик-слуга сказал ему: *пообещай Господу, что не будешь мстить врагам, если вернешься на царствие, и тогда Он спасет нас*, – Юстиниан взъярился и заорал: *черта-с#два, сдохнуть мне в этих волнах, если я оставлю в живых хоть одного!* И скоро буря успокоилась.

Это последнее выглядит как черт-те что – эпизод из «Игры престолов», и, тем не менее, если верить Нине, все именно так и было. Хотя в целом я, конечно, раскрашивал то, что она мне рассказывала, по контуру, как листочек из детского журнала, с собачкой, там, или котиком. Ее-то диссертация – о вещах серьезных, что-то про дипломатию средневекового Причерноморья, и я не решился бы ей признаться, что фигура безносого императора мне инте-

реснее, чем тексты договоров, союзы и торговля; самый мелкий, но подлинный осколок прошлого для нее, разумеется, ценнее любых спекуляций.

Ее привязанность к своему кругу и принятому в этом кругу образу жизни, как я теперь это понимал, по сути, не что иное, как другой ракурс той же черты – предпочитать подлинность, любую, даже глупую и неприглядную, подделке, фикции. (Ну, кроме, само собой, ее отца, английской школы, финансовой беззаботности и всего остального.) Страшно подумать, как бы она скривилась, если бы увидела Аню. Надеюсь, что и из ревности, но я про другое: Аня показалась бы ей ненастоящей (что-нибудь вроде «она, наверное, и в ролевые игры играет?»). Я же, каюсь, склонен видеть подлинность и в фантазиях.

Не только потому, что, когда вечером второго дня, после утренней «лекции» (встречи?) в библиотеке, долгой прогулки и ужина мы оказались у нее дома, и я снял с нее платье, под ним оказалось соскучившееся по сексу тело с большой родинкой под грудью, которой она очень стеснялась, хотя мне стоило труда заставить ее забыть о том, как она выглядит, как пахнет, как звучит, и доехать до конечной, но в конечном счете главное, потому что фантазия подлинна постольку, поскольку она защищает подлинность от самой что ни на есть реальной реальности вроде родинки под грудью или отключенной горячей воды (она очень смешно повизгивала под холодной).

Нина, безусловно, глумливо посмотрела бы на меня, если бы я сказал, что *думал*, в то время как Аня прерывисто вздыхала, разлепляла губы, подавалась вперед, выгибала спину, держалась за меня ладонями и прижимала к себе мое лицо. Я, наверное, и не думал, скорее мне казалось важным запомнить, что я чувствую, и понять, почему. Между тем то, что я чувствовал, было крайне любопытно. Я не хочу сказать, что секс с красивой девушкой, с которой ты вчера познакомился, не прекрасен сам по себе, кто бы спорил, но тут было что-то, что переводило его из категории наслаждения в категорию сладчайшего. Мое изгнание, в то время как я тянулся к центру ее тела, снова и снова вздрагивая и покрываясь потом, придавало происходящему удивительную, неповторимую ноту тоски, горечи, и мелодия животной, безусловной радости органов чувств, прорываясь через эту ноту, ранила ярче, ослепительнее. Так что когда я на всех парах добрался до станции, я врезался в перрон, забыв про аварийное торможение (слава богу, потом выяснилось, что у Ани шестой день). Не хочу объяснять, при чем тут Юстиниан.

Пятнадцать тысяч войска дал болгарский хан Тервелий, и с ними Безносый пришел к родному городу. Три дня уговаривал его сдаться, потом ночью с небольшим отрядом пробрался по водопроводу внутрь и открыл ворота. Как и обещал Богу, не пощадил никого. Кровь текла по мостовым и высыхала на солнце. Леонтия и Апсимара-Тиверия скованными привели на ипподром, и император изволил смотреть конское ристалище, поставив ноги на шеи одному и другому, после чего обоих самозванцев обезглавили на Собачьем рынке. Тех, кто служил им, повесили, отравили или утопили. Патриарху выкололи глаза и в таком виде отправили в Рим.

Он освободил Кира и отдал ему патриаршую шапку. Отправил флот за женой, Феодорой, – флот настигла буря, но Ивузир все равно впечатлился и от греха подальше отослал зятю сестру с маленьким наследником. Сто тысяч войска было снаряжено в Херсон – целый остров из хеландиев, дромонов и скафосов двинулся по понтийским водам, и холмы Севастополя впервые насквозь пропитались кровью. У него постоянно текли сопли, и так же часто, как вытирал их, он отправлял людей на казнь, счет шел на тысячи. Узнав, что в Херсоне пощадили детей, разозлился и потребовал, чтобы их отправили к нему в столицу, – корабли с детьми потонули, и, узнав об этом, Безносый хохотал.

Если есть что-то, свидетельствующее в пользу существования Сатаны с его чувством юмора, то это судьба Безносого. Он мечтал о мести и упился ею допьяна. Город своего изгнания он ненавидел, больше всего на свете он хотел стереть его совсем, разрушить стены

и распахать улицы. И в этом-то городе короновали нового императора, а спафарий Илья, которого Юстиниан снаряжал на уничтожение Херсона, вернувшись в Константинополь, обезглавил низложенного императора, и страшную безносую голову с вывалившимся обрезанным языком, наколов на копье, отправил путешествовать на запад: мир должен был убедиться, что чудовище уничтожено. Шестилетнего сына растянули на доске и перерезали горло – так прервалась династия.

Про Феодору хроника забывает напрочь, зато в финальном кадре трагедии появляется другая женщина – старуха, мать Юстиниана. Она прячется с внуком в храме у алтаря и тщетно умоляет пришедших от нового императора не убивать ребенка. Я пытался представить себе ее глаза после того, как все произошло, в морщинистых кратерах на иссушенном лице – два слабых источника беспримесной боли. *Я думаю*, сказала мне Аня, *она ходила смотреть на море, а потом умерла*. Мы всю ночь болтали с ней под одеялом и задремали только на час, а потом мне уже нужно было бежать в гостиницу за вещами: в девять меня должен был забрать и отвезти в аэропорт тот же самый дядечка, который привез из него. На этот раз ему не пришлось выдумывать темы для разговора – я извинился, сел назад и тут же заснул. Аня отпустила меня, обдав жаром спящего тела, а ее запах долетел со мной до самого Петербурга.

Я вернулся из моего маленького изгнания в заваленный сугробами город-черту с некоторым чувством утраты; то, что я утратил, не было только девочкой-нервюрой или только южным маяком империи (с Аней можно еще какое-то время переписываться, а в Крым можно прилетать хоть каждое лето), – я утратил свое изгнание, и хотя иначе и быть не могло, я успел полюбить эту песчинку в мягких тканях своего сердца, она оставила царапину, и царапина сладко ныла. Впрочем, боюсь, что на этом чувстве я поймал себя и тогда, когда автобус мой пересекал Фонтанку и слева мелькнули синие купола Измайловского, – что и свой Петербург я потеряю также. Не могу сказать, что это было так уж неприятно. Похоже, что это фундаментальное чувство следует считать кильватером, который оставляет на воде любая движущаяся в море лодка.

В конце концов, нечто похожее было и тогда, когда мы с Ниной только познакомились. Была еще теплая осень, я стоял на остановке у Кировского моста, почему-то ленился идти пешком, но было уже за полночь, и надежда увидеть автобус все таяла. Нина шла мимо и сказала: *зря стоишь, пойдем*. Она как раз могла позволить себе такси, но хотела прогуляться. Я пожал плечами и пошел. Во#первых, потому что она была права, а во#вторых, потому что от ее красоты ныло в груди. То есть лицо у нее немного неправильное, но я не об этом, есть вещи поважнее. Я до сих пор думаю, что она тогда была немного на порошке: стремительная, болтливая и счастливая (но так и не спросил). Мы шли через мост, светились гирлянды набережных, она спросила меня, чем я занимаюсь, потом стала рассказывать, что последнее время читала, и оказалось, что среди прочего – мою последнюю книжку. *Да ладно, ты меня паришь! Что, серьезно? Обалдеть! Мог бы и не слушать, как я тут разливаюсь!* И уже тогда я на секунду почувствовал, как горько и сладко будет Нину потерять.

Впрочем, что касается Нины, то я собираюсь пробраться к ней по водопроводу, взломать ворота, залить кровью мостовые и пороги домов, утопить в море самозванцев, перерезать ненавистных детей, выколоть глаза изменникам, посадить на пики головы холуев и, войдя во дворец по шеям предателей, взять то, что принадлежит мне.

Даниэль Орлов

Колокол на берегу

С прошлого полевого сезона Генка знал, что в середине апреля снова отправится на Гряду с прибором за спиной захаживать по снегу долгие крайние профили, те, которые только и успели, что проложить в минувшем октябре, пока погода и магнитные бури окончательно не остановили работу. Он уже отчитал положенные по программе часы для второго курса, принял зачеты по лабораторным и воспользовался родственными связями, чтобы выпросить у отца, которого за два года до того назначили завкафедрой, отпуск за свой счет. Генке Урал был нужен до зарезу, там он отрабатывал методику, по которой писал диссертацию. Теперь оставалось только оформиться в экспедиции.

В партию его брали на привычную своей скромностью ставку техника, которой многие брезговали. Но в тот счастливый период Генкиной жизни, оказавшейся потом вдруг такой неровной и безалаберной, деньги не виделись ему чем-то важным. Он еще не был женат, жил вместе с родителями в трехкомнатной квартире на проспекте Ветеранов, аспирантскую стипендию привычно отдавал матери, как он сам называл, «на прокорм», а все заработанное халтурами и подработкой с удовольствием тратил на пластинки да «примочки» для гитары. О деньгах всерьез не помышлялось. Камни еще не падали из рук, а блинчиками отпускались по воде за горизонт, круги расходились во все стороны, в листве чирикало множество неведомых птиц и каждая на свой лад. Среди прочего, дела выбирались по душе, женщины – по внешности, а вино – по цене: чем дешевле, тем и лучше. А после, когда кислое полусухое переставало терзать кадык, мечтал Генка о ломкой кальке утреннего леса, рассветном крике совы, охотящейся вдоль опитого ветрами русла, о всполошенной стуком топора жирной копылухе, ломающей сильным крылом еловые ветки и уходящей поверх макушек куда-то за петлявую пойму Большой Сарьюги. Виделась в фантазиях натопленная до красноты чугунная печка в балке, чайник синей со сколами эмали, томящий в своем нутре чернозем грузинского чая. И в сладковатом мороке мастики, которой полотеры густым слоем намазывали паркет университетского коридора, насквозь пропитавшего здание Двенадцати коллегий[2], чудился Генке запах дегтя воткнутых в сугроб широких лесных лыж. И не ему одному. Казалось, что все так и жили: от поля и до поля, от сезона до сезона.

Это все Борода. Он сбил Генку с панталыку. Почти насильно вытащил приятеля из лаборантской, где тот уныло ковырял паяльником нутро генератора постоянного тока, и за локоток отвел в крохотную геофизическую контору на Седьмой линии, где заставил подписать трудовой договор.

Борода той зимой ушел из аспирантуры. На стихийной пьянке в деканате рассказывал, как ему все надоело: и профессия, и студенты с их вечными причинами ничего не знать.

– Но пуще, – уверял он, патетически тыча палец в облупленный потолок, – врубился я в тщетность всей этой университетской науки, ненужность себя в ней.

Генку такие резоны не особо убеждали: он считал, что дело тут не в высоких материях, а в хрестоматийной лени и пьянстве Бороды. Тот жил на профессорской, дедовой еще, даче в Горьковском и, по слухам, крепко там зашибал с местными колдырями[3]. Иной раз он появ-

---

[2] Сейчас – один из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета. Строительство здания было начато по проекту Д. Трезини и Т. Швертфегера в 1722 г. при Петре I. В первой половине XIX в. оно было передано университету. – *Примеч. ред.*

[3] Алкаш, пьяница. – *Примеч. ред.*

лялся на занятиях подшофе, но чаще, что называется, «с бодуна», когда даже пот его едко и густо пах спиртом. С некоторых пор он приезжал в город все реже и реже, пока наконец после зимней сессии, когда студенты то и дело жаловались в деканат, что не могут сдать ему зачет, вовсе перестал показываться на кафедре. Отец беспокоился, спрашивал у Генки, где его приятель, порывался звонить родителям Бороды, с которыми дружил с юности. Наконец Борода появился на факультете, но только чтобы забрать документы из аспирантуры.

Но в тот день Борода был трезв, свеж и вдохновенен. Одетый в чистую клетчатую ковбойку и модную джинсовую куртку пятьсот первой модели, купленную у факультетского фарцовщика, Борода походил на пижона с филфака, у которого все хорошо.

– Ты не думай, это прекрасное поле. Если бы Кешу не раздолбали на предзащите, фиг бы он передумал ехать, – говорил Борода, когда они, запершись в лаборантской, пили вазисубани[4] из кофейных бокальчиков с обкушенными краями после того, как договор был подписан. – Подобное счастье поискать надо: месяц на всем готовом! Даже катушки с проводами таскать не придется, привезут-отвезут, у заказчика собственный транспорт. Живем в Херсонесе, на берегу моря, работаем в трех остановках. Деньги – фантики, но платят четыре раза в месяц.

Генка кивал и рассеянно смотрел в окно, где птица-синица качалась на еще голой после зимы ветке рябины, высунувшей сквозь решетку университетского ботанического сада темную гроздь сморщенных ягод, словно ладонь за милостыней.

Конечно, Крым такой один. Такой Крым проливается прямо с неба, такое нельзя спланировать, как туза, лежащего в прикупе на чужом мизере, когда у тебя уже полна гора. Это мечта, доставшаяся по блату, по большому знакомству, по старой дружбе, а то и по случайности, как по великому замыслу тех небес. Пусть же так. Урал простит. Это не южная фифа, кривляка-Киммерия. Урал – мужчина серьезный.

На кафедре к Генкиной «командировке» отнеслись без энтузиазма. Отец обозвал его трутнем и севастопольским мечтателем, сказал, что в науке таким делать нечего, что если Генка интересуется не наукой, а строительной инженеркой, то ему надо было идти в техникум, а не просиживать штаны на факультете: «Деньги можно и на сдаче бутылок зарабатывать, что не так аморально. Нет, слыхали? Севастополь ему подавай! А Рио-де-Жанейро не хочешь?» Потом просто закрыл дверь кабинета, дав понять, что не хочет тратить время и нервы. Пока Генка оформлял документы на отпуск, научный секретарь, Валентина Витальевна, качала головой, мол, не дело это. Мол, когда Кеша ехать собирался, все закрыли глаза, не возражали, пусть бы отдохнул после предзащиты да на семью подзаработал, раз у человека такая ситуация.

– Вот теперь я отдохну и подзаработаю, – смеялся Генка, запихивая за щеку карамельку и ловко выстреливая скомканным фантиком в синее пластмассовое ведро, стоящее в углу кабинета.

– Как не стыдно! У него жена беременна, да и диссертация уже готова, а ты…

«Вот-вот, «готова», – думал про себя Генка. – Мы на предзащите все были, все слышали». Но вслух он это не произнес, чтобы Валентина не думала, что Генка ревнует. Они с Кешей были однокурсники. Их даже полагали друзьями.

Генка, в отличие от Кеши, геофизикой особо не интересовался. В профессии своей Генка любил все, что было вокруг науки, а не саму науку. Он любил с прибором за спиной ходить по тайге, но был равнодушен к результатам съемки, любил густое дыхание разгоряченного вездехода, замершего на просеке, ржавые полосы на брезентовых брюках от проводов электрозондирования, ровный стрекот движка за крайней палаткой, но его не волновало, найдут они что-то или нет: «Лучше бы ничего и не нашли, природа будет чище». Он и на

[4] Столовое белое марочное вино. – *Примеч. ред.*

факультет поступил не потому, что хотел что-то отыскать или понять, а потому что уже видел повод для ежегодного побега из города. Мать была против, она в романтику не верила, хотела, чтобы сын шел в журналисты, но отец не возражал. Уже годы спустя Генка вдруг заподозрил, что отец не возражал не потому, что получалось нечто вроде семейной династии, а потому, что не верил он в Генкины способности. И когда Генка вместо Урала собрался в Крым, отец был только рад, что его аспирант остается в городе, что у них еще целый огромный месяц, чтобы поправить Кешину диссертацию, причесать данные, пересмотреть выводы, проутюжить список литературы. Там у них наука, а здесь – только блажь ребенка. Отец уже знал, что болен, уже экономил время и силы. И когда Генка спустя годы понял, что пока он слабовольно мечтал о море, разливном вине Инкерманского завода, о прекрасных девушках в бумажных куртках, гуляющих парочками вдоль набережной от Артбухты до площади Нахимова, отец выбрал, кто достоин теперь времени и сил. И стало Генке в его мире неуютно и обидно, потому как ничего он отцу уже не докажет, ни в чем его не убедит, да и просто не повинится. Нет его, отца. Совсем нет.

В купе ехали втроем: Генка, Борода и доцент из Горного института Степа Глазьев. Степа был директором конторы, с которой Генка и Борода подписали договор. Он то и дело гордо говорил «наша фирма», в чем Генке слышалось пыльное эхо огромных и занудных романов Драйзера, которые он брал читать в библиотеке воинской части.

Генка знал Степу с детства. Тот считался приятелем отца, хотя и был младше на десять лет. Вместе с отцом посещал сборища книголюбов на задворках магазина «Подписные издания», пил кофе в известном буфете на Малой Садовой, ходил на показы в киноклуб. Когда Генкина мать уезжала в санаторий, Глазьева приглашали в гости пить венгерский вермут и играть в преферанс. Мать Степу недолюбливала, называла «жук». Был Степа лыс, сутул, но сам себя считал повесой и ходоком.

В поезде Степа галантничал с проводницей, порывался позвать приглянувшихся буфетчиц из вагона-ресторана, потом, изрядно захмелев, рассказывал истории своих любовных похождений и описывал иностранных делегаток, охмуренных им на международных конгрессах. Скабрезности в рассказах сменялись похвальбой, кажущейся приятелям неуместной. Сначала Степу из уважения слушали, а потом оставили наедине с полупустой бутылкой коньяка и пролетающим за стеклом пейзажем. Борода что-то писал в блокнот, покусывая колпачок желтой биковской ручки, а Генка просто лежал на нижней полке и смотрел на лампочку: то закрывал глаза, то открывал, наблюдая, как яркое пятно, теряя контуры, плывет в темноте от одного края черного ничто к другому.

Поезд прибыл в Севастополь ранним утром. На перроне ветер крутил небольшие смерчики и пинал вдоль вагона цветастый полиэтиленовый пакет.

Как только проводник открыл дверь вагона, юркий апрельский бриз лихо забрался внутрь и стал шарить по вагону. Бриз пах морем.

При разгрузке Глазьев неудачно поднял чемодан, и у него прихватило спину. В итоге приятели волохали катушки с проводами, электроды и прочий экспедиционный скарб вдвоем. Степа стоял на перроне и потерянно озирался в поисках встречающих. Наконец, к ним подбежал запыхавшийся долговязый парень и, глотая окончания слов, отрапортовал, что машина за ними не придет, потому как «совсем сломалась». Но оборудование можно «покидать» к нему в мотоцикл. Он отвезет, «а сами уже на троллейбусе», маршрут подскажет.

– Свой транспорт – это хорошо, – съязвил Генка. – Теперь на Херсонес посмотрим.

Но их с Бородой действительно поселили прямо на территории заповедника, в двух сотнях метров от базилики, чьи колонны оказались знакомы по винным наклейкам еще со времен учебной практики. Маленький каменный домик с беленными известкой стенами, с рамами, покрашенными синей краской, с уютным деревянным крыльцом. На стене в при-

хожей крепилась эмалированная раковина, над ней крючился антикварный медный кран, перемотанный капроновым чулком, наверное, для того, чтобы не капал.

Степа разместился в гостинице, в квартале от заповедника, на четвертом этаже, в номере с душем и телевизором. Лифт в гостинице не работал.

– Вы, ребята, ко мне мыться приходите, – пригласил он Генку с Бородой, когда те, утирая пот, помогли ему втащить чемодан по лестнице. Потом он о своем приглашении забыл.

Каждое утро после завтрака Генка кейфовал на табурете, укрывшись от ветра за домиком, прислонившись к нагретым доскам крыльца и подставив лоб еще не обжигающему, но уже наглому апрельскому солнцу. Он пил растворимый кофе, куражащийся под языком химической горечью, и наблюдал за пчелой, творящей монотонный свой подвиг. У самого крыльца рос кряжистый Церцис. Ствол и ветви Иудина дерева покрывали пурпурные цветы. Над соцветиями кружили мелкие дикие пчелы. Где-то рядом пряталось гнездо. Борода несколько раз обошел дом, заглядывая под карниз и сливы, но так и не нашел его. Пчелы сначала нервировали, к ним относились с опаской, ожидая какой-то подлости, но уже на третий день перестали обращать внимание. Пчела жила здесь до них и оставалась жить после. Возможно, что пращур именно этого роя тысячу лет назад укусил раздухарившегося войной и опьяненного греческой кровью князя Владимира, да так, что тот ослеп и оставался слепым, пока не принял при всем честном народе повторное крещение, узрев, что Господа, Анну Византийскую.

– Прозреешь ли от веры, или она затуманит взор? – не то цитировал, не то просто невпопад вопрошал Борода, глядя куда-то поверх базилики. Он, собираясь на работу, наматывал провода на раму между приемных электродов. Такие вопросы ответов не требовали. Чаще всего Борода просто разговаривал сам с собой. Генка посмеивался, но смотрел с любопытством, пытаясь угадать, что происходит в голове приятеля.

До работы нужно было добираться на троллейбусе. К остановке шли пешком, после троллейбуса – тоже пешком около километра, увешанные катушками, генератором постоянного тока, электродами, приемниками, рулетками.

Участок, где разворачивали съемку, нависал над пляжем Омега. Огромный каменистый пустырь, по которому ветер гонял перекати-поле. Пока размечали магистраль, устанавливали на ровной площадке треногу теодолита, возились с рейками и вешками, вбивали колышки пикетов на профилях, рисовали белой краской кресты на камнях, задружились с местными мальчишками, приходившими сюда ловить тарантулов.

Мальчишки рассаживались поодаль и смотрели, как Генка или Борода стоят у теодолита и показывают рукой, что надо наклонить вешку в ту или другую сторону, записывая что-то в небольшой блокнот-пикетажку[5]. Когда развернули передающую линию, вбили электроды и стали ходить по профилям с приемными рамами, щелкая клавишами потенциометров, восторг мальчишек достиг апогея. По всей видимости, за всеми этими священнодействиями чудилось им великое взрослое знание об устройстве всего сущего, до поры до времени скрытое от них самих, но такое желаемое и потому угадываемое во всяком проявлении сложного в их простом мире. Для мира с рогатками, велосипедами и тарантулами, сидящими по лункам, чтобы однажды схватить всеми своими восемью лапками опущенный на нитке пластилиновый шарик, мальчишкам не хватало откровения, проявления высшего разума, тайного знания. И не так важно, какого конкретно, пусть даже закона Ома для участка цепи, но тайного, и чтобы вот так сразу связавшего и тарантула в лунке, и ссадину на локте, и даже то, как щекочет в носу, когда думаешь о завитке волос возле уха сидящей впереди одноклассницы.

[5] Специальная тетрадь с миллиметровой сеткой для записи топографических данных. – *Примеч. ред.*

Борода с Генкой день ото дня медленно продвигались по профилям, размеченным в крест простирания дренажных стенок древних виноградников, расположенных друг от друга на расстоянии что-то около полутора метров и скрытых под слоями песка и почвы. Иногда стенки выходили на поверхность, и тогда их запросто можно было различить по параллельным грядкам жесткого кустарника, запустившего свои корни в щели между кладкой. Смысл работы и заключался в том, чтобы картировать стенки, показать, что будущее строительство планируется на землях, на которых нет важных археологических объектов. Все просто. Все скучно. Прикладная инженерная задача.

Вечерами, после работы, в их домик приходил пахнущий дорогим одеколоном Степа, просматривал пикетажки, накалывал точки на карту, болтал о всяких глупостях. Рассказывал, что в него влюбилась администраторша гостиницы. Генка с Бородой не слушали.

Перед Пасхой, приходящейся в том году на тринадцатое апреля, они заканчивали нижний, самый близкий к морю участок планшета. Хотя солнце жарило немилосердно и лица и руки успели обгореть по третьему разу, со стороны бухты дул сильный, знобливый ветер. Еще в первый день Степа достал из экспедиционного баула два тонких ватника с поплавками «МИНГЕО СССР» на рукавах и заставил взять. Хотя Генка застегнул ватник на все пуговицы, к полудню почувствовал, что продрог. Он уже собирался поставить прибор и сделать перерыв, погреться, укрывшись от ветра где-нибудь в камнях, но решил, что пройдет еще один профиль.

Профиль был такой же, как и все остальные. «Стенка, канавка, стенка, канавка, межа, дорога пять метров, межа, стенка, канавка, стенка, канавка», – отмечал Генка про себя. Еще до того, как в окошке появлялись цифры, Генка мог с точностью до второго знака предсказать измерение. Когда появился первый «выброс», Генка не придал тому значения. Мало ли, что там, в земле, может быть. Колодец, например, древний, или вполне современная канализация. Могла быть просто стенка внутри участка, такое и раньше случалось. Но метров через десять аномальная цифра повторилась. Генка оглянулся по сторонам, стараясь запомнить приметы этого места. В стороне от пикета рос куст. «Интересно, что на соседнем профиле?» – подумал Генка, быстро дошагал этот профиль до конца и начал съемку в обратную сторону. По следующему навстречу уже двигался Борода. Поравнявшись с кустом, Генка опять записал аномальное значение, но второе оказалось уже не через десять метров, а через пятнадцать. Генка прошел еще пикетов пять, снял прибор с шеи и стал следить за Бородой.

Тот втыкал приемную «козу» в землю, щелкал тумблерами, записывал значения, делал пару шагов, опять втыкал электроды, и все повторялось вновь. Вот он дошел до того места, где, по расчетам Генки, должен быть выброс данных, воткнул электроды, щелкнул клавишей, записал данные в пикетажку, выдрал приемник из земли, сделал пару шагов и тут вдруг замер. Видимо, он думал о чем-то своем и фиксировал цифры механически, но тут заметил сильное расхождение. Борода вернулся назад, наклонился в поисках отверстий от электродов и вновь пощелкал клавишами. Наконец он выпрямился и, осмотревшись по сторонам, заметил Генку.

– У тебя то же самое?

Генка кивнул.

Борода поднял электроды и продолжил профиль, то и дело покачивая головой, словно противясь цифрам, возникающим в окошке потенциометра. Наконец, через двадцать метров он обернулся к Генке и помахал рукой.

– А у тебя? – спросил он.

– На пять метров меньше, на соседнем – три.

– Полукольцо?

– Все может быть. – Генка вдруг почувствовал азарт.

Следующие три часа они работали без перекуров, уже не бродя, а бегая по профилям. Наконец, разгоряченные, вспотевшие, в расстегнутых ватниках, они сняли с себя приборы, укрылись от ветра за камнями и, расстелив на планшетке кусок миллиметровки, накололи точки с обеих пикетажек на план.

– Идеальный круг, – сказал Борода, закурил и откинулся на спину.

– Если не водопровод или канализация, то это открытие. Скорее всего, цирк или даже театр. Скажем, если эти вот выбросы, – Генка показал на пары чисел у себя и Бороды, – тоже принять во внимание и посчитать, например, входом, то театр с выходом к морю. Так что, мой друг Шлиман, мы с тобой нашли очередную Трою.

– Интересно, сначала был театр, а потом виноградники, или сначала – виноградники, а потом театр? – Борода лежал, прикрыв глаза.

Генка встал, и ветер сразу бросился к нему обниматься. Море кучерявилось. Вдали, на рейде севастопольской бухты, виднелись силуэты кораблей. Где-то справа, на замершей еще при Союзе стройке, печально подвывал на ветру трос башенного крана.

Когда-то здесь, ровно напротив пляжа, стояло нечто огромное, важное, а не просто очередной виноградник. Возможно, храм, но почему-то хочется верить, что театр. И виден он был издалека. И к нему стремились дороги с трех сторон. И три дочери Мнемозины – Каллиопа, Мельпомена и Талия – сидели на его ступенях, спускавшихся к морю, болтали и смеялись. И шедший с корзиной фруктов светловолосый вольноотпущенник-фракиец вдруг замирал, различив этот смех. Он останавливался, озирался, щурил свои голубые глаза, но не видел никого и понимал, что то лишь игры чернявых эллинских божеств.

Они вернулись к себе в домик, помылись по пояс в раковине, переоделись в чистое, пообедали разогретой на плитке консервированной славянской трапезой и выпили за открытие по двести граммов купленной в ларьке дешевой водки. Борода остался дожидаться Глазьева, а Генка пошел на берег. Ветер стих, но море еще било волной в камни.

Возле колонн базилики позировал перед объективом фотографа серьезный мужчина в красном пиджаке. Больше никого в заповеднике не было. Генка прошел вдоль обрыва, свернул к собору, возле которого несколько теток в платках мели двор к Пасхе. Мужик в синем халате на стремянке крепил на крыше строительного вагончика фанерные буквы «ХВ». «Х» падала, мужик зычно матерился, спускался с лестницы, цеплял букву под мышку и вновь забирался на крышу вагончика.

Собор с войны стоял разрушенным. Официально считалось, что в купол попала бомба, а потом неф при отступлении пытались уничтожить немцы. Но среди местных бытовало мнение, что, когда разминировали Херсонес, все снаряды и бомбы складировали в храме, а после разом взорвали. Что бы там ни было, а службы начались только в этом году. Борода видел попа, говорил, что молодой.

Генка обошел вдоль забора и по длинной пологой тропе спустился к Карантинной бухте.

«А ведь, сложись у родителей иначе, – подумал он, – я мог бы родиться в Севастополе».

Когда мать еще только носила Генку, отец по распределению приехал в местное отделение Академии наук. Мать готовилась отправиться следом, ждала, когда отец обустроится и вернется за ней. Вещи уже были собраны, билеты забронированы. Но мать так и не приехала: начались преждевременные схватки, и Генка родился семимесячным. Отец прилетел в Ленинград на самолете встречать жену с сыном из больницы. Генка помнил ту фотографию на ступеньках института имени Отта: отец в темных очках, с бородкой клинышком, в пиджаке и галстуке, несмотря на жаркий июль, держит в руках кулек из одеяла, перевязанный лентой, и растерянно смотрит в объектив; рядом серьезная мать с огромным букетом цветов. От роддома они поехали к себе, в коммунальную квартиру на Петроградской сто-

роне, где жили тогда на тридцати семи квадратных метрах под самой крышей в одной комнате с родителями матери. И, конечно, был стол, были родственники, сестра матери с мужем и дочерью, двоюродная сестра матери с мужем и еще двоюродный брат матери без жены (Генкины дядья и тетки) и, разумеется, бабушка. И они сидели за столом, пока Генка спал возле пианино в купленной специально для него, с расчетом на переезд, разборной кроватке, плотно спеленатый, оранжевый от желтушки новорожденных, с припухшими веками и еще не умеющий разговаривать с миром.

А отец взахлеб рассказывал гостям о Севастополе: о том, как пахнет Приморский бульвар после дождя, как сохнет влажная плитка на набережной, как клубится над ней пар, а солнце, прищурившись сквозь ветви каштанов, чертит на нем, как на рыхлой бумаге, золотые полосы. О том, как гудят в небо Инкермана тепловозы перед воротами порта, о троллейбусе, скулящем над черными тушами танкеров. О цикадах, живущих где-то в трещинах камней причальной стенки. О том, каким простым может быть счастье. И все слушали. И Генка слушал. Он еще не умел различать слова, не знал, кто он есть сам, но уже слушал и запоминал. А потом отец рассказал, что жилье им выделили на дебаркадере, пришвартованном в Карантинной бухте. У них с матерью теперь прекрасная комната, получившаяся из двух кают. И что он сразу влюбился в эту комнату, и в этот дебаркадер, и в причал, по которому взад и вперед, похожие на заложивших за спину руки флотских пенсионеров, бродят тонконогие кулики и из путаницы сухой и ломкой, как проволока, тины выискивают какую-то им понятную живность. Утром он просыпается от клекота воды, бьющей о борт, от тявканья чаек, а солнце кидает блики на потолок каюты через окошко иллюминатора. Тогда Генкина бабушка, все это время не проронившая ни слова, поднялась со стула, хлопнула ладонями по столу так, что подпрыгнули тарелки, и сказала: «Она никуда не поедет. Не отпускаю. Хватит этих интеллигентских соплей. Не позволю ребенка в сырости держать». Это Генке потом рассказывала мать. Отец про Севастополь не вспоминал. Никогда.

Генка побродил по пляжу, высматривая среди мусора гладкие цветные стеклышки. Смеркалось. Пора было возвращаться. Генка не захватил с собой фонарик, а в темноте в заповеднике можно запросто сломать шею.

Когда Генка вошел в комнату, Глазьев сидел за столом и уныло смотрел то на миллиметровку, то в пикетажки, то на строительную синьку, на которой были помечены подземные коммуникации. Борода стоял у окна, сложив руки на груди. На лице его проступили красные пятна, как бывало всегда, когда Борода злился или сильно нервничал.

Наконец Степа отложил пикетажки, откинулся на спинку стула, грустно посмотрел сначала на Бороду, потом на Генку и начал говорить. Говорил он долго, наверное, час. Генке показалось, что целую вечность. И все, что он говорил, ни Генке, ни Бороде не нравилось. И оба пытались спорить, приводили примеры, настаивали, но все равно выходило, что кругом Генка с Бородой не правы. И что свои северстроевские принципы они должны засунуть куда подальше, иначе «ни в одном приличном месте таких болванов#романтиков терпеть не станут». И судьба им в дальнейшем – не зарабатывать нормально, а «кормить комаров на дальних от денег болотах». И если накроется вся эта геология вместе со страной, то никакой ДеБирс и никакой Шлюмберже у себя работников, не понимающих строгость и конкретность производственной задачи, не потерпят.

– Вы поймите, чудики, мы денег получим, только если здесь ничего не найдем. Если здесь нет ничего, то и земля что-то стоит, а значит, вложения оправданны. Если же там какое дерьмо античное торчит, то придется привлекать археологов, а это целая история, огромные средства, масса времени. С точки зрения коммерции – вечность. Да и вообще, на это никто не рассчитывал, нет у заказчика на это средств. Не предусмотрены траты на такие развлечения. Наша задача – апробированным методом, без земляных работ, показать, что на участке сохраняется привычная для полуострова структура: клеры, межи, дороги, стенки чертовых

виноградников. Не должно тут быть ничего, кроме этих стенок. Никто никогда и ничего не находил, ни на каких картах не отмечал ни подпоручик Строков, ни придурки из Академии наук. В фондах про то ни слова. Потому усвойте: ничего тут искать не надо. От нас открытий не ждут. Мы пришли закрывать, а не открывать. Надо показать пустоту. Усекли? Пустоту!

Генка опять начал спорить, но Степе этот разговор надоел. Он швырнул на стол блокноты.

– Значит, так: завтра все должно быть переписано так, как нужно, полностью по всем профилям. И чтобы без вашего театра, цирка и дурдома. Переписывайте, переделывайте, подгоняйте.

Глазьев ушел, а приятели еще несколько минут молчали.

– Да ну, в задницу, – вдруг выругался Борода. – Поехали по набережной погуляем, тошнит от нашей резервации.

Апрельский Севастополь, отразивший свет фонарей в отмытых к Пасхе окнах. Набережная, томящаяся любовью и желанием. Военный патруль: капитан-лейтенант и два худеньких курсантика с торчащими из-под бескозырок ушами. Девушки, гуляющие парочками под ручку. Ах, как смотрят на них курсантики: «Зачем этот чертов каплей увязался? Утопить бы его прямо тут, в фонтане». Матросик в самоволке, переодетый в гражданку, со смуглым лицом и красной шеей, окантованной аккуратной военной скобочкой. Шпана с семечками. Старики с собаками на поводках, тянущих своих хозяев на запах люля-кебаба.

Они молча прошли по набережной и обратно, сели на троллейбус и вернулись к себе в заповедник. До трех ночи писали цифры в блокнотах.

На следующий день на работу не вышли. Устроили первый за все время здесь выходной. Стирали, ездили в баню. Глазьев появился только к вечеру.

Генка протянул переписанные пикетажки. Тот кивнул и сунул во внутренний карман куртки.

– Ладно, – сказал Степа примирительно, – сегодня, так сказать, сочельник.

– Сочельник перед Рождеством, – хмуро заметил Борода.

– Какая разница, – хохотнул Степа, – вы же меня поняли? Это вот, в качестве компенсации за моральные страдания. И простите, если давеча наговорил всякого. Как-никак, а нынче праздник.

Глазьев снял с плеча рюкзак и приподнял за ручку небольшой пластмассовый бочонок с домашним пино, большим дефицитом в этих местах. Лучше него считалось только качинское каберне.

– Разговляйтесь на здоровье. Христос воскресе!

– Рано еще, – Борода потер лоб. – А впрочем… – Он взял стаканы с подоконника.

Через два часа Степа уже храпел на Генкиной кровати, а приятели переместились на крыльцо: сидели и смотрели в небо. Разговаривать не хотелось. От Владимирского собора доносились голоса певчих. Шла пасхальная служба.

Послышались шаги. Кто-то бежал по дорожке к дому. Тот же долговязый парень, что встречал их на вокзале с мотоциклом, вышел на свет из темноты. Теперь он был облачен в ярко-желтый стихарь, из-под которого виднелись кроссовки.

– Соседи, помочь надо. Сейчас крестный ход, а у нас одни бабки.

Сбиваясь и опять глотая окончания слов, рассказал, что мужики, которые должны были фонарь и хоругвь нести, перепились и не пришли. А крестный ход уже через полчаса. И нужно помочь, потому как ритуал и правила, вообще дело богоугодное и праздник. Он еще кого бы попросил, но только больше ему податься некуда, потому как «наши музейские сегодня не работают».

Генка с Бородой поднялись с крыльца и шагнули в темноту. Парень забегал вперед, оборачивался и умолял идти быстрее. Наконец, рискуя упасть в раскопы, они оказались у входа в собор, освещенного лампочкой, вкрученной в патрон, от которого шел провод к вагончику. Их спутник попросил подождать, перекрестился и скрылся за дверями храма.

– Странно, что внутрь не пригласил, – сказал Генка.

– Мы ему тоже выпить не налили, – заметил Борода.

Парень вернулся через минуту и сообщил, что мужики нашлись, спали здесь же в бытовке.

– Но помощь все равно нужна. Нужно звонить в колокол. Ну, вы знаете, который там висит, – он махнул рукой в сторону берега. – В фильме про Буратино показывали. Поле чудес. Страна дураков. Поняли? Только, мужики, в колоколе пестика нет, потому вот вам лопата! Через пять минут начинайте. И спасибо! – Парень, сунув Генке ржавую совковую лопату, вновь скрылся за дверями храма.

Приятели переглянулись, пожали плечами и поторопились на берег. Колокол темнел на фоне неба. Вокруг все было усеяно стеклами от пивных бутылок, которые гопота любила об него разбивать. Решили, что в колокол лучше бить камнем, от лопаты хорошего звука не получишь. Разбежались в разные стороны, притащили по несколько камней разных размеров из древней кладки.

В это время раздались слова тропаря, крестный ход выходил на улицу.

– Ну, помолясь! – Генка со всего маха запустил камень внутрь колокола.

Колокол ожил, рванул на себя темноту, как скатерть с небес. И в тот же миг лунный свет осветил весь древний Херсонес.

– Знаешь, Генка, а может быть, и фиг с ним, с театром?

– Может быть.

– В конце концов, это все принципы, – Борода кинул камень, и колокол отозвался каким-то вздохом, – так сказать, отвлеченные понятия, рудименты взросления. В остатке ни денег толком не получим, ни славы не приобретем.

Борода взял камень побольше и кинул его. Колокол благодарно загудел гулким и богатым звуком.

– Ведем себя, как кретины. Степу жалко, на нем лица нет. Давеча рассказывал, как никто ему аппаратуру в аренду не давал, пришлось купить. А она, гадина, дорогая.

На этих словах Борода увернулся от отскочившего Генкиного булдыгана.

– Степа квартирантов на полгода к себе пустил, сам по приятелям кантовался да в конторе ночевал на Седьмой линии. Все едино – не хватило, занимал.

Очередной камень, брошенный Генкой, заставил колокол охнуть.

Генка на мгновение остановился, выгнулся, разминая спину, и посмотрел на мигающий огонь маяка в районе северного мола.

«Христос воскресе из мертвых. Смертию смерть поправ», – доносилось со стороны храма.

– А потом, – вдруг рассмеялся Борода, наклоняясь за камнем, – ты же знаешь, как у нас строят?

Камень попал в край и высек искры. Колокол взвыл.

– Это *у них* теперь… – уточнил Генка, озираясь в поисках булыжника.

– А без разницы, у них – то же самое. Что бы ни построили, через пятьдесят лет рухнет, вот тогда, когда развалы расчищать будут, заодно и раскопки сделают.

Они вновь наклонялись, снова поднимали камни и бросали их внутрь колокола. И звук уже освоился в ночи, почувствовал границы пространства, найдя каждую поверхность, от которой мог отразиться. Звон, густой и черный, как неразбавленное греческое вино

или как кровь скифов, потек по ступеням и смешался с морем, уже забродившим белой пеной у кромки берега.

Через пять минут, не сговариваясь, они уронили камни на землю, отерли руки о ватники и, попеременно пропуская друг друга, прошли узкой тропинкой до своего домика. На крыльце стояли стаканы и почти пустой бочонок. Борода хлопнул Генку по плечу и разлил остатки. Они подняли стаканы, посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись и выпили.

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе!

И какова была истина в том вине, знал лишь безвестный геометр, который единожды, по великому вдохновению, в неведении позора своего язычества, расчертил здесь все на правильные четырехугольники, ориентировав их относительно розы ветров. Сухая, кряжистая лоза, как из окопов, поднялась из канавок, прорубленных в камне, облокотилась на стенки из ракушечника, подставляя резной лист понтийскому солнцу. Лоза, столетия упирающаяся в спину Гераклейского полуострова, крепла на страже порта и города. Скифская конница проносилась по степям Тавриды пыльной бурей и рассыпалась на тонкие песчаные струйки вдоль виноградников, чтобы сгинуть под стрелами эллинских лучников, чтобы плотью своей удобрить черствую и скудную здешнюю землю, чтобы кровью своей напитать лозу, в страданиях рожавшую рубин и оникс, гранат и нефрит, черную шпинель и белый агат. Эта лоза, чье вино для евхаристий катакомбной церкви, скрытой в скалах Маячного мыса, везли покорные трудяги-ослики узкими улочками Херсонеса. Это вино пил Владимир из глиняного черепка, поднесенного бабкой своей Хельгой на первом своем причастии. И когда родился Генка, этим вином, да-да, вином, взлелеянным той же землей и камнем, напился допьяна Генкин отец и кричал что-то чайкам и плакал с ними хором почти по-фракийски.

И Генке хотелось прямо сейчас поговорить с отцом, сказать ему, что он все понимает правильно. И все у него будет хорошо. И у всех все будет хорошо. И вообще впереди – только радость. И хотелось петь.

Проходившая мимо с плошкой меда диких пчел Полигимния остановилась на миг, чтобы послушать Генкины мысли. Улыбнулась и, насвистывая, пошла дальше по лунной дорожке.

Елена Крюкова

Зодиак

Она могла лежать. И я тоже могла.

Мы обе лежать – могли.

Подолгу.

Спину грела ночная сухая земля. Она не остывала ночью. Сухая, колючая, цепкая. Тонкое старое верблюжье одеяло не спасало от ее сухих жадных когтей.

На живот и я, и она клали куртки. Зачем? От пауков, жуков, змей? Тощая ветровка не спасла бы от укуса, от мутной слюды чужих надкрылий.

Мы укрывались куртками, спасая себя от звезд.

Звезды наплывали и сыпались на нас.

Люда поводила головой. Слева от нее круглились серые мощные каменные купола мечетей. Тысячелетний ветер выдувал мертвые крики из пустых домов. Двери зияли засохшими ранами. Рана в виде креста, рана в виде полумесяца. Купол – всего лишь срез круглой дыни. Луну распилили надвое, а она так кричала.

А теперь – молчание. Оно оглушает и давит. Ушей нет. Языка нет. Есть только грохот сердца.

И эти звезды, слишком много звезд.

– Люда! Ты видишь, это Денеб!

Направо не смотреть. Там – пропасть.

Ночью она слишком черная; зрачки падают в нее слишком стремительно. За глазами рушится разум.

Люда медленно поворачивала голову ко мне. Безумие плясало в ее глазах. Толстые Людины губы крупно дрожали. «Сейчас споет арию Кармен, – думала я, – и сожжет дотла чертову тишину. Ну, Людка, пой!»

– Вижу, – выдыхала Люда, глядя на меня.

Она выдыхала воздух, как после выпитой рюмки водки.

Певцам нельзя спиртное. А пианистам? А скрипачам?

Все пьют. Все всё равно пьют. И женщины, и мужчины. Спиваются старые актрисы. Спиваются молодые парни в подворотнях. Мы хорошо живем! Гудят застолья! Гудит великим производством советская, заводская страна! Мы сами себя в космос запустили!

Вот он, твой космос. Над головой у тебя.

Зачем мы приехали в Крым? А по горам ходить с рюкзаками. У нас путевки и инструктор, вечно под хмельком. Нас тридцать человек в группе. Бахчисарай, Эски-Кермен, Чуфут-Кале. Под ногой скользит мелкий и плоский, как белая монета, камень, и едет прочь от тебя твоя нога, и ты пытаешься ее поймать, и падаешь с обрыва, и тебя ловят за ногу, за обе ноги, как игрушку Петрушку, что валится с кукольной сцены, и тебя матерят в бога-душу, и у тебя кружится голова, и тебя рвет на острые белые камни, потому что ты увидела игрушечное море с журавлиной высоты, с опасных зубцов Ай-Петри.

Люда поет. Я играю на рояле. Мы дружим. Мы решили провести лето в крымских горах. Я чуть не разбилась, Люда чуть не задохнулась – окунулась в ледяной источник в огненно-жаркий день. Она раскрыла рот, выпучила глаза и посинела. Парни вытащили ее из воды под мышки, били по щекам. Когда она застонала и задышала, парни загоготали и засвистели: «Ядреный корень, будто роды приняли!»

– Людочка!

– А?
– Видишь внизу, ниже Денеба взглядом веди, такую яркую звезду?
– Вижу.
– Врешь!
– Точно вижу.
– Это Альтаир. Альфа Орла.
– И как ты все помнишь, Дуня?
– Да вот так и помню, Люда. Просто я…
Молчание сильнее меня. Да и что говорить? И о чем говорить?

Голос человека особенно красив, когда он поет. Бывает, люди говорят скрипуче, а поют обалденно. Бывает и наоборот. Отчим бил Люду смертным боем. Они жили в Курске. Почему говорят «курский соловей»? Почему не орловский, не белгородский, не рязанский? Везде ведь соловьи поют. И люди везде поют. Люда пела особо. Ее голос можно было намазывать на хлеб и есть, дрожа и подвывая. Поставили студенческого «Евгения Онегина» на сцене Большого зала консерватории; Людочка пела няню. Зал грохотал стоя, топал ногами, кричал: «Ня-ню! Ня-ню!» Няня, в салопе и куче наверченных шалей, в чепце, надвинутом на брови и на уши, выходила кланяться, торопливо приседая. Татьяна и Онегин, кусая губы, стояли около кулис; их глаза прожигали ненавистью Людочкину нарочно ссутуленную спину.

Отчим спивался и бил ее, бил и спивался. Люда похоронила мать. Она боялась ночевать с отчимом в одной квартире. Закрывалась на ключ. Он ломился к ней, она орала и стучала соседям в стену пустой бутылкой из-под бренди. Соседи вызывали милицию – у Люды телефона не было. Отчима забирали на пятнадцать суток. Однажды, когда вот так на две недели опять забрали, Люда собрала чемодан и поехала в Москву. Слова «поступить в консерваторию» звучали для нее как «будешь жить».

Она осталась жить. И стала жить.

И стала вместе с ней жить я – соседка по комнате.

Я не курила, не пила, не водила ночами в комнату мальчиков, не шептала: «Побудь часочек в холле, книжечку почитай, курочка!» Не водила девочек, пряча за пазухой, под куртенкой, бутылку «Кюрдамира»; не разевала рот, затевая грандиозный скандал на тему открытой в мороз форточки или пошлых трусов на батарее; я никогда не занималась в комнате на пианино, похожем на избитого доской, исцарапанного кошками слоненка (я терзала рояли в подвальных репетиториях); я была дурочка и скромница. Скромница-дурочка. Умная дура; а Люда была здоровая красивая курянка, с румянцем во всю щеку и губами, пухлыми, как у мулатки.

Мне она казалась умною.

Потому что она больше молчала, чем говорила.

Я аккомпанировала ей, когда она пела, забывая себя, забывая, что поет. Вместо нее пело нечто, чему имени я не знала. И она не знала.

Мы обе не знали.

И знаменитая столичная певица, Людочка к ней в ученицы счастливо попала, сжимала перед ее носом крупные, как дыньки-колхозницы, кулаки, когда Люда пела де Фалью, когда она пела «Приют» Шуберта или «Как мне больно» Рахманинова, и вопила недуром: «Да! Да! Так! Покажи им! Раскрой рот шире варежки! Да! Да! Покажи им кузькину мать! Да-а#а#а!»

А я, скромный молчаливый концертмейстер, сидела за белым, роскошным певицыным роялем и держала себя ладонями за локти, поднимала плечи и ежилась, будто замерзла лютой зимой одна, на безлюдной остановке.

– Левее Денеба Вега.

– А?

– Люд, ты что, глухая?

Молчание. Оно сильнее нас.

Мы обе лежим на сухой земле и глядим на крупные звезды. Слева от нас древний пещерный город Чуфут-Кале. Он пуст. Это страшно. В пустых стенах живут духи. Мы молчим про духов, кровь сама все знает про них. Однажды в общежитской комнатенке мы гоняли блюдечко по огромному листу ватмана. Блюдечко под нашими пальцами скакало от буквы к букве. Мы вызывали духов: дух Пушкина, дух Кутузова, дух Бетховена, дух Моцарта, дух Карла Маркса, дух Томаса Манна. Зачем Томаса Манна? А он много чего знал про музыку и музыкантов. Веселее всех оказался Моцарт, он хихикал, шутил, бесился и насмехался. Он смеялся над нами и над нашим детским пьяным спиритизмом. Он прыгал и скакал по потолку над нами – тенями и сполохами жалкой дешевой парафиновой свечки, выдохами и вскриками «кварта! квинта!», отблесками рассыпанных по диванам засаленных карт, четвертями, восьмыми и шестнадцатыми, свистом безумной флейты за стеной, за картонной перегородкой.

Ветер перебирал черные, под луной синие, волосы Люды. Теплый жаркий ветер. Ласковый, как Моцарт.

Справа – пропасть.

Не упасть.

Еще успеешь туда упасть.

Еще не скоро.

– Люда!

– А?

Я вытащила из-под одеяла руку и нашарила руку Люды. Ее рука будто ждала мою.

Руки сжали друг друга. Встретились и очумели от радости. Как перед разлукой. Как будто кто-то из нас падал в пропасть, а другой подал ему руку и тянул, и тащил на себя.

Люда коконом, спеленатая одеялом, подкатилась ко мне. Рядом. Близко. Человек, его тепло. Жизнь. Чужая жизнь. Другая жизнь. Жизнь иная, не твоя. В чужом теле чья-то чужая душа. А эта чужая земля пахнет полынью. Полынью и чабрецом. Полынью и гвоздикой. Полынью и ромашкой. Полынью и…

Молчание плыло над нами, а руки говорили. Руки жили отдельно от нас. Они нам не принадлежали. Мы удивлялись, как это свободно, весело они разговаривают. Рукам становилось все вольней, а нам все страшнее.

Я хотела вымолвить слово. Не смогла. Губы еще были моими. Но руки приказали им, и они подчинились.

Мы не глядели друг на друга. Мы глядели на звезды.

Вега, Денеб, Альтаир. Сухая земля. Два тела. Лунная мечеть. Пропасть рядом.

Жизнь впереди.

Жизнь коротка.

Руки, не расцепляйтесь.

Когда мы, придет час, будем падать в пропасть, мы вспомним эти звезды, звезды.

Врешь. Ничего ты не вспомнишь. Дешевый романтизм. Ни Моцарта, ни звезды, ни чашки, ни блюдца. Ни еду, ни питье. Ни любовь, ни драку, ни слезы, ни лекарство в мензурке. И няня не склонится над тобой и не споет, дребезжа старым голосом: «Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне тринадцать лет!» Ничего. Никогда. У тебя просто не будет времени.

Люда Коровина стала солисткой Стамбульского оперного театра. Она вышла замуж за богатого турка. Родила ему шестерых детей: пять девочек и мальчика. Бросила петь. Рас-

толстела. Присылала мне семейные фотографии. Муж стал ее истязать: хитро, осторожно, расчетливо, чтобы чужие люди не видели на теле синяков. Она забрала девочек и улетела в Россию. В Курск. Мальчик не захотел лететь. Сказал: «Я остаюсь с отцом». В Курске старик-отчим, проспиртованный насквозь, на радостях напился и в ночь приезда Люды и детей умер от внутреннего кровотечения. Люда с детьми стала жить в пахнущей перегаром квартире. Переклеила обои. Пела в церкви. В нее влюбился священник. Он приходил к ней после служб, помогал ей мыть полы и варить картошку, играл с девочками и пел им «Иже херувимы». Турок узнал, где живет Люда. Прилетел в Курск. Сначала он убил священника. Потом он убил Люду.

Девочки плакали. Они вытирали слезы шторами, полотенцами, кулаками, подолами. Отец увез их с собой. В Стамбул. Навсегда.

Пропасть, и серый купол под синей луной, страшная пустая полусфера. Пустой город Чуфут-Кале. Пещеры. Камни. Скалы. Над ними – в вечности – огни.

Голоса, голоса. Пиано, меццо-пиано, сотто воче.

Люда!

А?

Ты глухая, как Бетховен?!

Дунька! Молчи. Слушай.

Люда! Ты боишься смерти?

Нет, Дуня.

Ты такая смелая?

Нет. Я трусиха. Просто это еще очень далеко.

Да. Знаешь, это ведь и правда черт знает как далеко.

И вообще все это будет не с нами. Мы вечные.

Точно! Не с нами. Как ты догадалась?

Я не догадалась. Я пошутила.

Да я тоже пошутила. Помрем как миленькие.

Как пить дать.

А ты хочешь пить? Я бы соку выпила.

У меня во фляжке вода.

Теплая, фу. Не хочу.

Я тебе воду на костре вскипячу и заварю чай. Индийский, со слоном.

Ой! Индийский! Люблю.

Я тоже люблю.

Людка, я тебя люблю.

Я тебя тоже люблю, Дунька.

И поет, поет взахлеб в сухом колючем кусте, над колючей сухой землей, под колючими дикими звездами безумная ночная птица.

Фарид Нагим

Швы жизни

Посмотрел на трещину в белой стене возле «Коломенской» и вспомнил Крым…

Принимал душ в их ванной, тесной от множества бутылочек Няни. Прижал к лицу нагревшееся на трубе махровое полотенце.

Отнял полотенце от лица, и от ярчайшего солнца все показалось белым: море, галька, люди, чайки, прибой… На губах – привкус горячей морской соли и белого сухого вина. Потом шел по приморскому парку и прикрывал горячую, налысо остриженную голову полотенцем. Густой, туго натянутый блеск моря. Под синтетически ярким, радиационным ялтинским солнцем сидят на корточках молодые гомосексуалисты, щурятся и скучно ждут богатых клиентов из отеля «Ореанда».

Жара такая, что в подсвечниках оплывают свечи, свешиваются веревочно. Какой-то шум, будто кашляет кошка. Саня Михайловна лежала и рыдала, как девчонка, и тело вздрагивало, будто его трясли.

– Я прямо не знаю, аж прямо страшно делается. Меня душит прямо. Где Алексей? Жалею, что второго не родила. Были мужики хорошие, один на промбазе. Подошел: «Что-то ты одна ходишь?» – «Я мужа похоронила». – «А я жену, давай сойдемся?» Три раза подходил. А я говорю: два раза мужей хоронила, больше не хочу. Вот теперь саму хоронить некому. Я устала от жизни такой. Я бы легла и умерла, и не могу никак. Господи, под бомбежкой была, с горы летела, может, меня смерть не берет?! Сердце держит. Ничто не интересует, Господи, хоть бы я легла и уснула. А у тебя в Москве есть где жить?

– Нет.

– Приезжай. Будешь здесь жить. А Алексей пусть забирает меня в Москву, я не сварливая, как другие, я не пью. У меня пальто есть зимнее и сапоги еще. Меня страх одолевает, что меня кто-то прихлопнет, умру и буду на полу лежать.

– Саня Михайловна, может, лекарство еще какое-то купить по дороге?

Смотрел на таинственно светящееся море. Оно улавливало невидимый мне луч. Хруст гальки. Высокий парень в теплой кожаной куртке подошел ко мне. Наверное, единственная дорогая вещь в его гардеробе.

– Извините, закурить не будет?

– Нет.

Я отошел и с ненавистью посмотрел на море.

– А вы, наверное, отдыхаете здесь? – с настойчивой учтивостью «голубого» поинтересовался он.

Я скривился, сдерживаясь, чтобы не послать его, и злобно загромыхал галькой в сторону набережной.

Ушел и сел в открытом кафе. Дул плотный теплый ветер, и я прикрывал глаза, чтобы не попал мусор. Мимо прошли дешевые, но дорогие лично для меня проститутки.

Задумаешься о чем-то – и уже темно. Ночь. Так всегда в Крыму.

По Московской дошел до улицы Куйбышева. Замер и услышал, как журчит вода в арыке. На Подъемной лишь один фонарь. Вдруг в черном зеве кустов взблеснула серебристая ручка. И то, что мне виделось фиолетовыми кляксами в глазах, оказалось необычным светом из маленькой двери в стене. Поднялся выше по каменным ступеням, оглянулся на болтающийся свет земного фонаря. Пахнуло душистым кизячным дымком. Почти про-

тискивался меж узких стен татарских домишек, проходил мимо маленьких, укутанных виноградными лозами двориков, в которые спускались деревянные лестницы с веранд. К перилам привязаны почтовые ящики. Всё хрупкое, шаткое и таинственное, как театральные декорации. На свету лампочки видны капилляры и косточки виноградин. Свернул и снова поднимался. Может быть, я заблудился? Так долго подниматься невозможно.

– Aidam, men seni sevem[6], – вдруг явственно услышал над самым ухом.

Оказывается, я стоял у фанерной стены, за которой находились странные существа с мужским и женским голосами. Так темно, и это радостное чувство любви к ним, будто я уже растворен в их голосах и телах. Эта была кодовая фраза, и она что-то значила в моей судьбе, следовало ее запомнить. В кромешной тьме я увидел сиреневые пути, и с каждым новым шагом, с упертой в коленку ладонью, я все меньше слышал и чувствовал самого себя.

– Андрей, Андрей! – сквозил в них тихий голос.

– Андрей, Андрей, – тихо звал я.

В пять часов утра на самом первом троллейбусе я поехал в Симферополь встречать Няню. Светало, и я с удивлением видел море с этой высоты. Надо будет обязательно запомнить для Саньки, что море открывается на повороте, там, где скала «голова Екатерины». Светлеющие, поросшие лесом горы. Надо не забыть сказать ему, что в этих местах русский полководец Кутузов лишился глаза. И чем ближе я был к вокзалу, тем больше понимал, что Няню я уже не люблю.

Я перешагивал через эти надоедливые извивы путей. Поезд прибыл на какую-то вокзальную окраину. Я увидел Саньку внизу, а потом – Няню в дверях тамбура. Я смотрел на них со стороны, как будто заново нужно было узнавать их. Я с особой жалостью и болью утраты почувствовал абсолютную пустоту в груди. Зачем? Ну почему все так?! То короткое мое чувство к Няне испарилось окончательно, как серебряная капля, отставшая от прекрасного ювелирного изделия. Удивительно, я даже не помню, как мы познакомились, с чего все началось, продолжилось и стало тем, что уже есть сейчас. Только помню, там, в Щелыково, вдруг выпорхнуло из-за угла, укутало меня ее облако – желто-волосатое, краснолицее, с ярко-серыми сочными глазами и большими пухлыми губами.

– А пойдем с нами за водой?

Мы с Няней не знали тогда, что это была абсолютная кодовая фраза, надолго связавшая нас. Я вздрогнул и согласился.

С горестной пустотой в груди обнимал странного Саньку и влюбленными, сияющими глазами смотрел на Няню.

– Ну пока, Санька, не болей, – сказал пассажир.

– Ну что, Санька, как ты себя чувствуешь? – усмехнулся другой.

– Давай, Санька, отдыхай, как моряк, – улыбнулась девушка.

– Пока, Санек.

– Он всю дорогу проболел, отравился, что ли, – озабоченно говорила Няня. – Весь вагон на уши поднял, я уж думала на таможне выходить и обратно ехать. Но вроде бы легче потом стало.

– Поехали, Сань, тебя там твоя тезка ждет, она тебя вылечит…

Сэкономив деньги на трамвае, я взял «Волгу», чтобы хорошо видеть море и горы, чтоб никто не мешал нам.

Санька, как взрослый, сидел впереди. Я тихо радовался той не московской красоте, которую они сейчас видят. Радовался, что жарко, что скоро блеснет море, и они не узнают его: «Что это?» А потом оно распахнется во всю свою ширь, и машина полетит

[6] Aidam, men seni sevem* *(кр. – тат.) – Айдам, я тебя люблю.*

прямо в этот низкий, плоско полыхающий треугольник. Няня иногда прижималась ко мне с радостно-покорной женственностью, как в Щелыково это было.

– Я заняла у Машки-саратовской пятьсот долларов, и пошли с Иркой на рынок… Я столько накупила, Андрей, ужас просто! И все вроде бы надо, а так посмотришь, вроде бы и не купила ничего. Майки купила, лосины, какие давно уже хотела, мыльно-рыльные принадлежности, молочко против солнца и для загара.

Вот… вот сейчас… вот. Я увидел Ялту, и меня что-то удивило. Как же я мог раньше не замечать, что это обычный советский городишко, только еще и курортный. Особенно это жуткое, окраинно-московское скопище девятиэтажек. Я глянул на Няню и угадал ее реакцию: а ты совсем другое рассказывал.

Саня Михайловна так радовалась им и уже даже не знала, чем еще угодить.

– Ну, здравствуй, Санька! Ты Санька, и я Санька.

– Как так, мам, как так?

– Вот баба Саня.

– И деда Саша.

– Я не деда.

– Кушай, мальчик должен кушать, – говорила Саня Михайловна.

– А вы?

– А я голодная сирота, не пролажу в ворота.

Женщина в троллейбусе намеренно не подвинулась, и Няня с Санькой не смогли сесть. У меня заболело сердце. Когда ты один – все нормально. Но стоит тебе объединиться с девушкой, как все сразу усложняется и начинаются проблемы. Как будто бог еще раз наказывает вас, как будто решил снова изгнать из рая, как будто мстит мне за женщину, как будто бог «голубой».

В первые дни мы по пропуску Сани Михайловны купались на лечебном пляже, но это было все же далеко, и мы, как и все глупые курортники, стали ходить на городской пляж, прямо под набережной, со всеми ресторанными и магазинными стоками.

– Тебе нравятся эти полосатые плавки? – показывала она на парня по колено в воде.

– Нет, так себе.

– А мне нравятся, они на тебе хорошо смотрелись бы…

Она очень любила выискивать на моей спине какие-то прыщики и выдавливать их. Это было больно и злило.

– Ты не злишься?

– Нет, даже приятно.

– Правда, приятно?

– Да.

– Зая, давай я еще у тебя из носа жир выдавлю.

– Может, не надо?

– Вот, смотри, – она надавила ногтями на мою ноздрю.

– Фу-у, – брезгливо сморщился высунувшийся из-за ее плеча Санька.

– Зайка, тебе вообще надо чистку лица сделать.

– Думаешь?

– Мамуль, море такое блестящее, что его хочется лизнуть.

Сначала обедали в ресторанчиках, а потом уже – в общих и недорогих столовках. И снова загорали по инструкции – со всеми средствами против и для загара.

– А вода не соленая, а горькая… и запах какой-то…

– Йодом пахнет, это очень полезно…

Пена выплескивается на гальку, мгновенно тает, исчезает, только галька блестит сильнее. Девушка несла свою грудь, как каравай. Все тело – постамент под ее груди. Сердце саднило, хотелось выпить.

– Смешные эти «братки», да?

– А что? – подняла она от гальки належалое лицо.

– А он прямо с сигаретой и борсеткой пошел в воду.

– А#а…

– А знаешь, во время революции они были бы революционными матросами, с такими же шеями и цепями, а в советское время были бы стахановцами, ударниками соцтруда, а сейчас они бандиты.

– Ты им просто завидуешь.

– Мей би, мей би…

Бог, наверное, избрал меня своим глазом, чтобы я любовался женским телом. А я мучительно старался не смотреть, но глаза косили и будто бы сохли. Неумолимая сила сворачивала голову, и я глядел, пряча от нее лицо и делая задумчивым взгляд. И говорил ей что-то незначительное о море, о погоде, будто думал только об этом, а не рассматривал женщин. Будто специально, все как на подбор: удивительно красивые, загорелые и блестящие на солнце, музей достижений современного женского тела. Я будто бы воровал у нее из-под носа эти фрагменты грудей, ягодиц, ног.

– Тебе, видно, очень нравится эта, в стрингах? – Няня спокойно смотрела на меня из-под панамы.

– Какая? Эта? Фу, нет, что ты.

– А вон та, в купальнике от Версаче? – Она приподнялась на локте и щурилась.

– Как ты видишь, что это купальник от Версаче? Так себе, мне не нравятся худые модели, они нравятся толстым мужикам.

– И купальник от Версаче не понравился? Я же вижу, что ты врешь, Андрей. Чего ты боишься? У тебя уже глаза косят в разные стороны!

– Ну, это скорее какое-то эстетическое зрелище, что ли.

– А от меня? – с вызовом толстушки спросила она.

– От тебя даже большее.

– Я знаю, что только большее, но не эстетическое!

И вдруг громкий, вспухающий шум прибоя, будто напоминающий о себе, и длинный, всасывающий звук его отступления. Шампунная пена, черная мокрая галька, голубое стекло воды. Нещадное солнце, все вокруг белое, обведенное фиолетовым нимбом. Зеленый пластик водоросли прилип к ее большому пальцу. Крики чаек, купающихся, торговцев пахлавой, лай собаки. «Теплоход «Константин Паустовский» отправляется по… шруту… ассе номер пять». Она, раздраженно закрыв глаза, лежала на боку. Я рядом с нею, на мне эти полосатые плавки. Она хотела что-то сказать и промолчала, только веки вздрогнули. В этом августе, лежа рядом с женщиной у моря, я вдруг остро почувствовал свою смертность. С женщиной всегда чувствуешь смертность и конечность пути. Хотелось выпить и закурить. Хорошо выпить и знать уже, что умрешь, глядя в морскую даль, лежа рядом с женщиной – любимой или не очень, все равно… Приятно закурить. Курить и чувствовать, как проходит жизнь.

– О чем ты думаешь? – спросила она.

Мне очень хотелось показать им лайнер. Но его все не было. Были толпы людей на улицах, на рынках, в тесных троллейбусах; озлобленные, яростно агрессивные кондукторы и местные жители. Изнуряющая жара и вечерний смог на улицах Московской и Киевской. Тот же наглый бандурист на набережной, суровый старик в морской форме и с баяном, весы за 25 «копиёк». Мне было обидно за отдых Няни и Саньки, и я остро переживал, когда их толкали, обсчитывали, пролезали вперед них в очереди и грубили.

Лайнера все не было, и я решил открыть им прекрасную тайну, которую заготовил напоследок. Я повел их по улице Чехова, чтобы показать им Ялту, которую сам очень любил, – эти изогнутые, ступенчатые старые дома с большими верандами, насквозь проросшими толстыми, перекрученными ветвями дикого винограда, эти таинственные, каменные спуски во дворы, этих странных, будто бы музейных людей, эти парки, будто бы навсегда сокрытые от простых смертных. Но поразительно: та, прошлогодняя, Ялта спряталась от меня, и ТА улица Чехова будто бы отступила за саму себя, за эту обычную, ничем особенным не примечательную провинциальную улочку, и казалось, вновь проявляется за моей спиной, но стоит обернуться вместе с Няней – и все пропадает. Словно бы в этой Ялте меня окружала странная граница, переступая которую я попадал в строительный магазин «Евроремонт», «Покрівля для ВАШОГУ дому», продуктовый гастроном, магазин женского белья, дорогой и скучнейший ресторан, гордящийся тем, что все на уровне и как в Москве, и становился обычным семейным курортником с пивом в руке.

После еды она подкрашивала губы, и делала это с таким аппетитом, будто совершала некий ритуал, продолжая есть. Я со страхом в душе думал о Массандровской улице, уже зная, что и там меня будет ждать эта невидимая граница со шлагбаумом и невидимым насмешливым часовым.

– О чем ты думаешь?

И я вздрогнул, снова увидев в ней чужого человека.

– Так… Какое странное чувство было у меня в Германии…

– Ты был в Германии?

– Да, немецкоязычная группа нашего института. Дойче аустаушдинст.

– Надо же, – она с уважительной готовностью сменила лицо.

– И вот там я вдруг что-то ощутил, это длилось всего секунду, что-то такое последнее на земле. У меня сжалась душа, и я что-то окончательное понял, что-то такое грустное. Маленький городок, то ли Майнц, то ли Дармштадт, не помню.

– Ах, какие названия… Ты их так называешь запросто.

– Ты не понимаешь, а я не могу объяснить. Что-то общее и такое интимное, стыдное и конечное. И неважно, какие названия, словно я бывал уже здесь, как я бывал в казахских степях, как я вот здесь сижу. Нет, не то, не могу объяснить чувства.

– Я поняла тебя, – и она с такой же готовностью нахмурила брови.

«Что это было все-таки? Потом меня окликнули, и я пошел-пошел, возвращаясь к автобусу, постепенно одеваясь в земное, становясь Андреем… Бегичевым… нищим студентом третьего курса… стесняющимся незнания немецкого языка…»

А через неделю Санька заболел так, что пришлось вызывать «Скорую». И врач с провинциальным чемоданом в руке успокоил нас: ничего страшного, это не солнечный удар, не сотрясение мозга, а просто курортный грипп из-за акклиматизации, как это часто бывает у детей. Няня дала ему деньги, он растерялся, покраснел и поблагодарил с преувеличенной солидностью.

Саня Михайловна мочила в уксусной воде марлю и укрывала Саньку. Она почти умоляла нас сходить куда-нибудь, чтобы побыть с ним одной. Я увидел однажды, с какой завистью она смотрела на него, как она смаковала и упивалась зрелищем этого маленького человечка. Когда мы уходили, она прикрывала жалюзи, пила крепкий кофе, выкуривала тончайшую сигаретку и с тайной улыбкой превращалась в добрую фею.

Съездили с Няней в Ливадию. Пили там портвейн «Ливадия» и хрустели пластиковыми стаканчиками.

– На этом месте, где мы сейчас с тобой сидим, – сказал я, – когда-то стоял деревянный дворец Александра Третьего, мы, по сути, сидим на его фундаменте… он умер в этом дворце, и его сын Николай в ужасе выбежал и просил дух отца: «Сандра, научи! Сандра, научи!» А в

сорок первом году, когда наши отступали, этот дворец сгорел от окурка неизвестного солдата… И вот теперь здесь спортивная площадка, и мы с тобой сидим, и что-то будет еще…

И я увидел этот дворец, этого юношу-царя, ужаснувшегося своей участи правителя огромной империи, как будто он все предчувствовал, увидел этого солдата, докуривающего свою самокрутку, и увидел нас, странным образом объединившихся в этом мире, застывших на мгновение в этом потоке, в Ливадии, с одноразовыми стаканчиками в руках.

Няне все-таки хотелось показать кому-то все наряды, которые она приготовила для этого отдыха. И везде в городе, когда ей оказывали малейшую, обычную, человеческую услугу, она всегда спрашивала, делая «взрослое лицо»:

– Я вам что-то должна? – и тут же вынимала большое портмоне.

Люди терялись, медленно кивали головой. Она рада была заплатить за тот образ жизни, который вела в Москве, и который казался ей абсолютно законным, незыблемым, и которым она будто бы специально хотела заразить всех местных жителей.

Море сдвигало к берегу зыбкое отражение огней набережной, похожих на пылающие угли. Я доводил ее только до начала Массандровской. И возвращались назад на набережную – по улице Рузвельта, мимо антикварного магазина, мимо отеля «Бристоль». Густая и плотная толпа. Скучающие люди сидели на парапете, пили пиво и слушали оркестр латиноамериканцев, как в Москве. Мы шли вперед, потом – назад… навстречу попадались те же самые гуляющие. Раскаты смеха – это рассказывали анекдоты те самые ребята с Арбата. Она обрадовалась им, как чему-то родному здесь, и ей хотелось сказать: «Ребята, я тоже из Москвы».

Потом мы танцевали с ней в дискоклубе «Торнадо». Она скрывала от меня свое разочарование заведением. В этой майке, в этих пятнистых далматинских лосинах она была слишком женщина: неприятно обтянутые женские ляжки, лобок, живот, груди. Что-то откровенное, открытое, раззявленное. Я танцевал вместе с нею как в истерике. Потом, сидя на теплом, почти горячем парапете, мы выпили с ней бутылку красного массандровского портвейна, вкус его был отдаленно знакомым. Словно диковинные животные, независимые и ко всему презрительные, не сгибая коленей, шли высокие девушки в белом. И у всех узкие, врезавшиеся меж ягодиц стринги. Те простые бабы-лохушки, которые сидели в них, испуганно несли впереди себя вот это все: белое, несгибаемое, накрашенное, накрученное и зафиксированное. Странно, что здесь, рядом с нами, – невидимое, громадное и какое-то лишнее море.

– А здесь много богатых и бандюков. Смотри, как одеваются: Габана, Труссарди, Фенди, Версаче…

Я хотел оторвать море, как надоевшую бумажку, и вдруг рядом со мной застыл мыльный пузырь. Удивительно тонкостенный, с мыльной завитушкой – округло очертившийся пузырек ночного воздуха, в котором, как в магическом шаре, собралась и отразилась вся Ялта.

– ……, – говорила она.

А он все висел рядом со мной, как чье-то послание, как обещание и надежда на что-то лучшее, и в нем клубилась и скользила вся жизнь.

– ……, – засмеялась она. – Что ты все молчишь и дуешь в кулачок, как будто там дудочка.

– Я дую в кулачок? Надо же.

Очерченный шарик опустился на траву, и пропали все его линии, вся накопленная в нем жизнь.

Потом пошли на «канатку». И так неожиданно тихо и пустынно стало нам в этой скрипящей кабине. Она посмотрела на меня и промолчала.

– Ну что, Няня?

Она снова красноречиво промолчала.

– Ты что-то хотела сказать?

– Зачем ты постригся налысо?!

– Чтобы жизнь моя изменилась!

– Изменилась? Я вижу, что ты меня больше не ЛЮ! – пьяно сказала она, откинула задвижку и открыла дверь.

– Упадешь, Няня! – разозлился я и понял, что скажу ей сейчас всю правду. И вдруг увидел, что у нее точно так же, как у Саньки, выпятилась и дрожит нижняя губа.

– Ты меня не ЛЮ! – и свесила вниз ногу. – Я это увидела, когда ты подошел к поезду, я почувствовала, что ты меня уже не ЛЮ!

– Няня, хватит дурачиться, упадешь.

– Ну и упаду, упаду…

– У тебя губа дрожит, как у Саньки.

– Ты меня не ЛЮ, Андрей!

– ЛЮ! ЛЮ!

И она плюхнулась мне на колени.

– Я тяжелая? Тяжелая? – настойчиво спрашивала она, словно бы мстя мне за то, что она тяжелая.

«Няня!» – взъярилась во мне эта волна, и вдруг в ее серых дрожащих глазах увидел столько боли.

Саня Михайловна показывала свои награды и грамоты, показала дарственные часы. Рассказывала, как во время войны ходили с тележками в Симферополь обменивать шляпы и веера на продукты. А над ними смеялись немецкие солдаты на велосипедах и ругались русским матом: «Сталинские кони, вашу мать!» А потом принесла альбом. Видел ее сына. Очень гладкое, скользкое лицо с неуловимой улыбкой и скрывающимся взглядом, как будто он знал некую тайну.

– …так-то он хороший, Алексей, помогал мне, плиту на печке побелил.

– Плиту?

– Да, заради красоты. Я уж его не ругала… Потом он снежки на печке хотел высушить.

– Да-а, надо же.

– Какой интересный ребенок был, – рассеянно сказала Няня. – Другой раз его нечаянно в санатории в холодильнике закрыли.

– Зачем? Как это? – устало поинтересовался я.

– А он хотел посмотреть, как огонек свечки замерзнет.

– Интересный ребенок.

– Вот только не женился, а хорошие девушки к нему приезжали, вот была Лариса, она мне тоже нравилась.

И вот я шел и наслаждался своим одиночеством. Утренняя набережная – как вымытая и спрыснутая из пульверизатора комната, огромный платан, заброшенная киностудия, приморский парк, сутулый и тепло одетый Горький… я бежал все дальше и дальше, в другую сторону от Массандровской улицы, словно хотел пересечь эту странную границу, постоянно отдаляющую от меня мой самый любимый город на земле. Уставал, шел и снова спешил. Пустынные, какие-то промышленные пляжи, бетонные блоки, арматуры, металлолом…

Я прошел еще несколько шагов, ослепленный каким-то ударом… потом еще несколько шагов. Что это? Этого не могло быть! Какая-то бессмыслица. Это было явное нарушение человеческих законов, разлом… И все замерло, когда стало ясно, что я застал все это врасплох, словно увидел мир с перерезанным горлом, с завернутой к ушам кожей. Что это? Опорные стены.

С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! В ШТОРМ КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

И я, и безмятежные ОНИ – никто из нас не знал, что теперь делать и как дальше жить.

С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! В ШТОРМ КУП…

Так доступно, небрежно открыто, как в концлагере…

С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! NUDE – и перечеркнутые трусы.

Они валялись там и сям, как кожаные тряпки, комки, кульки и мешки, более целомудренные, чем если б они были в купальниках, более голые, чем они могли быть на самом деле, голые, как абсолютная правда. Странность и отчаяние в том, что это было абсолютно не постыдно, нисколько не развратно, и эта пустота нежелания в груди, будто я лизнул язык своей матери. За моей спиной, равнодушно посвистывая и глядя в сторону, стоял уличенный мною весь цивилизованный мир, с фотошопом, кисточкой и купальником в руке. А впереди, отчерченные кромкой прибоя, на серой и грязной гальке промышленного пляжа валялись они, невозможно утратившие все свои формы, словно их вынули из матрицы, в удобных им, расслабленно-натуральных и потому особенно нестыдных и обидно неразвратных позах. Мучительно нестыдных. Молоденькая девушка с мальчишеским пупком лежала, развалив длиннокостные колени, в странном надрезе торчал и блестел уголком на солнце этот розовый мясной лепесток. Поодаль – нечто новое и мультипликационное. Кожаные кармашки – округлые куски мяса – свисали по бокам, синие морщинистые соски, двигались и встряхивались сальные пояса, жидко расползалось по гальке то, на чем они сидели. Словно они сняли свои женские костюмы, спрятали их, чтоб не портить на солнце, и теперь вот остались в настоящем виде. Они замечали меня, смотрели и не видели, как дальтоники. Одна из них, со странным горбиком на шее, была в бейсболке и курила сигарету. Другая листала «Vogue». И этот журнал, и сигарета, и сигаретный дым казались одетыми.

С БУН ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! NUDE – и перечеркнутые трусы.

Сегодня они сдали мне одну из тайн. И эта новая, гнетущая пустота в груди. Я вспомнил Няню, все ее постепенное и предсказуемое поведение женщины, ее странные отношения с матерью, и почувствовал, что теперь я начал видеть швы жизни. Я вспоминал юношескую любовь, все свои бессмысленные работы, ложь, тщету, нехудожественность и пошлую закономерность земного устройства и воочию увидел в воздухе эти грубые стежки и концы белых ниток.

Что-то скрежетало, вскрикивали чайки. Дорога к моему самому любимому городу на земле бильярдным закрученным шаром укатывалась и плавно срезалась опорной стеной. А я брел назад.

Отнял полотенце от лица – в зеркале подпрыгивали и улетали виды. Этот резиновый разжиженный туалетный запах, вода, пахнущая железными внутренностями поезда… Хлопнула дверь тамбура. Прокричал локомотив; поднятый мною стакан схватил и отшвырнул этот стремительный невесомый комок.

Много выпил, и когда закурил в тамбуре, то показалось, что поезд идет наискосок.

Встреча в октябре

I

Это были дни свободы и грусти. Я заново открывал для себя светлые мелодии, написанные словно бы специально для меня, одухотворившие мою грусть. Рядом появились прекрасные люди, чтобы сочувствовать и весело и беззаботно спасать меня на том горестном чудаческом пути, что уготовила судьба. Все напитки были вкусны и жгучи, даже самые дешевые и поддельные. Но той осенью я остался в Ялте один, а горы и море обостряют и усиливают все чувства.

Каждый день я спешил к морю. В косых рамках, составленных выжженным небом, чинарами, горами, каменными улочками и переулками, синими и купоросно-голубыми полотнами вставало и волновалось море. Улочки такие узкие, что парень с девушкой могли бы поцеловаться, высунувшись из окон противоположных домов. Самодельные антенны и провода увиты сухим поблекшим виноградом… Наверное, хорошо, что сохранились эти записи на счетах дешевых ресторанов, обрывках пачек из-под сигарет, и я вспоминаю.

Ялта. Октябрь, 1997 год.

Выхожу на набережную, и мне кажется, что я заблудился, потому что впереди – девятиэтажный дом. Тут никогда не было высоток, а потом понял: это круизный лайнер. «Принцесса Исландии». Она едва покачивалась, но оттого, что корабль такой огромный, казалось, он стоит спокойно, а качаешься ты, качается набережная, деревья и дома, кружится голова. Я сел. С заснеженных гор спустилось одиночество и положило мне на плечи бивни мамонта. Надо выпить. Выпить и пойти в «Диану».

Сижу в дискоклубе «Диана». Взял пива, потому что от вина уже болят почки или печень, но что-то там болит. Руки холодные, как лед. Дрожу, даже кружку боюсь взять. Так вздрагивает рука, что даже смеюсь. Увидел молоденькую девушку, одиноко сидящую в углу. Такой нежный белый свитер и черная юбка. «Девушка, можно вас угостить?.. Девушка, вы одна? Девушка, вы не одна? Какая улыбка красивая». И так далее, и так далее… Девушка, девушка. Подойди да спроси, что ты сам с собой общаешься?! Потом пришло много людей. Пьяные турки компанией, иностранные моряки, наверное, с американского военного корабля, все остальные – местные. Я курил и улыбался своему состоянию. Под этим сиреневым светом моя зеленая зажигалка вдруг стала голубой, а ее красная кнопка – ярко-оранжевой, и белые одежды исходят, дымят иссиня-фиолетовым светом, будто люди растворяются. Страшным упругим боем бьют динамики. Вздрагивает ложечка в чашке, и брючина шевелится на ноге. Если не двигаться, то сердце начинает сбиваться со своего ритма. Вдруг мне стало хорошо и радостно, и люди показались не такими плохими и даже дружными, и так уютно вокруг. Зачем-то подмигнул кому-то. Выпил еще две кружки холодного местного пива «Оболонь». Губы приятно онемели, и затяжелели скулы, будто на них железные пластины. Захотел, чтобы продавщица цветов вернулась. Она вернулась. Я купил розу за десять гривен и попросил передать ее той девчонке в углу, нежной и хрупкой. «От кого?!» «А хрен уже знает от кого, от Степного барона скажите!» Девчонка издали пожала плечами. Потом подойду к ней. «Ты показалась мне такой нежной и хрупкой, что я решил передать тебе хрупкий подарок природы»… и так далее, короче, пью. Уши горят и вот-вот отделятся от головы, а может уже, да и по фигу.

И вот я уже хорош. Вхожу в эту музыку, закрываю глаза и танцую так, будто утром умру.

Моя нежная девчонка, которой я подарил цветы, куда-то исчезла, пока я танцевал. Ее уже нет, и официантка спокойно убирает стол… САМБА! Ди Жанейро… Па-па-па-па-пау-пау. От грома тошнит, и немеют руки.

Мелькнула лестница, как быстрый эскалатор. В туалете… в зеркале издалека, как из тумана, проявилось мое отражение… я даже провел по зеркалу рукой, чтобы проверить реальность лица… женская прокладка валяется внизу. Чувствую, уносит и тянет назад; хватаюсь за кран, и кран вместе с холодной струей, вместе со стеной, вместе с зеркалом и моим изображением в нем скользит вверх и наваливается на меня. Потом вдруг… Не помню перехода. Снова в «Диане». Мелькнула девушка с большой грудью и длинной улыбкой. Свет падает, как снег, будто сижу под зеркальным новогодним шариком. Вдруг в глазах – рекламный щит: ЗАВЖДЫ КОКА-КОЛА. Вспомнил, что я в Крыму и что Ялта – это Украина! Пробежали охранники в казино. Кто-то присел напротив. Толстые пальцы с печаткой. Сигарета. «Парламент». Что они так серьезно сидят, как будто только что договорились банк грабить? Вот еще пальцы с наколкой. Пью. Пальцы ушли, на столе уже тонкие нервные руки. И вдруг уже пью бутылку вина вместе с Верой. Как-то быстро. Да, Вера, Рак по гороскопу. Я узнал ее и очень обрадовался, что она одна.

– Ты вчера такая грустная была с этим бандитом, это же убийца какой-то, честно говоря, он так мучил тебя в танце, я видел. Мне так жалко было тебя, честно говоря.

– Что?! А он и есть убийца, он из Новороссийска.

– А ты чего с ним тут делаешь?

– ……..

– Чего? А#а#а, ясно.

Она сегодня, наверное, очень долго была на солнце: ее зеленые глаза так горели, что казались пустыми. Все в них видно, даже бархатную шероховатость самого дна. И все равно даже из-под донышка идет свет, будто ее голова наполнена солнцем, его сиянием. Она моргнула, и я увидел в глазах тень от ресниц.

– Что? Я? Я Степной барон.

– …….! – засмеялась она.

И я смеялся вместе с нею. Я казался трезвым сам себе. Надо же. Потом мы танцевали. Она была удивительно стройная и худенькая под своей большой джинсовой курткой. Маленькие твердые груди – как удивительное и приятное продолжение тела, а не что-то отдельное, двигающееся само по себе. И красивая, крепкая попка, как у многих курортных девушек, потому что часто плавают в сильной воде моря.

– А я думала, что ты голубой.

– Я?! Ты что? Почему?

– Игорь Петрович сказал, что ты п…

– Надо же… А знаешь, Вер, говорят, что п… всегда чувствуют других п…

– Да? А#а. Хорошо, что он тебя не слышит.

– Вер, а что у тебя на майке написано?

– ……..

– СЕНЕГАЛ. Удивительно: целая страна Сенегал на твоей груди умещается, и даже буква Е посередине растянулась… Вер, ты знаешь, они здесь все так ходят, будто у них два пистолета под мышкой… Ты, братан, походку сделай попроще!

Она закрыла мой рот ладошкой. Такая маленькая и крепкая. Удивительные у нее глаза: казалось, что они в темноте будут светить на ее лоб и щеки. Они были старше ее самой на сто лет, такая трогательная в них женская доброта и мудрость. Мы спешили говорить с ней, пока не было музыки, потому что потом ничего не слышно.

– Вер, у тебя глаза в темноте светятся?

– Нет.

– Вер, а ты знаешь, в Ялте даже у кошек теплые глаза.
– Здесь у всех солнечные глаза.
– Кроме вашего Игоря Петровича.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.